



**Дружба
народов**

7/2022



В номере:

«Голая лирика»

Поэт Сергей ЗОЛОТАРЁВ и его лирический герой, его двойник, — как Икар XXI века — живет в полете, хотя известно, чем может закончиться этот полет, но пока он «всё чувствует точно дерево/но почти не осознаёт/потому-то и сердце стерео/и душа-то его поёт». Стихи Эгвины ФЕТ — о любви, которая родом из райского сада и живет там по сей день: «мы в сад вошли, где яблони и груши/краснели в первобытности стыда». Лирика Елены КРЮКОВОЙ тоже о любви в райском саду, но как будто и сад другой, и чувство совсем другое: «Сколько срубленных Райских садов.../А кто это там так медленно, тихо, нежно идёт к алтарю?/Господи, да ведь это ещё живая моя любовь».

«Зеркало новой американской революции»

«Как известно, художественная мысль играет немалую роль в подготовке революций. Бунин в «Окаянных днях»: «Как отделить реальность от того, что даёт книга, театр, кинематограф?» В России в этом плане ведущую роль играла книга, в Соединенных Штатах, каковы они есть сегодня, — кинематограф». Юрий КАГРАМАНОВ анализирует три последних по времени фильма Квентина Тарантино, которого многие считают американским режиссером №1.

«Мираж сюжета»

В рубрике «Жизнь в литературе» — главы из будущей книги Максима ГУРЕЕВА об Андрее БИТОВЕ: «Битов любил записывать свои сны, находя в перечислении причудливых событий и описании ведомых и в то же время неведомых персонажей недоступное наяву ощущение пространства, времени и среды, видение объема и цвета такими, какими они могут быть только внутри текста, который окружает писателя...»

Точки сборки

Обычно «родословную» писателей и их героев пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоопределение писателей, и мы пригласили прозаиков, поэтов, критиков — старших и младших современников — принять участие в заочном «круглом столе». В этом номере — начало публикации: размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Марии АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА, Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА, Александра ЧАНЦЕВА.

Евгений Абдуллаев: «Иногда возникает ощущение, что молодые читатели... Да, просто проедут на своих скейтбордах мимо. Что наша боль им будет неинтересна. Потом, конечно, замечаю — читают, как-то по-своему понимают, моих сверстников (которые сейчас входят в пору золотой осени), меня... И когда спорят, это даже больше радует».

Сергей Солоух: «Окажется ли нужным подлинное, вот что интересно. Или всех победят Майкл Джексон и Алла Пугачёва? Генная инженерия и мезотерапия, пилинг и контурная пластика. На этот вопрос у меня ответа нет».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.05.2022.
Подписано в печать 27.06.2022.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 2564/22. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. На вышколенной шкале. <i>Стихи</i>	3
Александр ЗАЙЦЕВ. Улыбка Мэри-Энн. <i>Повесть</i>	7
Татьяна ФИЛАТОВА. Бабочка и скафандр. <i>Рассказ</i>	32
Елена КРЮКОВА. Голая лирика. <i>Стихи</i>	49
Игорь БУЛКАТЫ. Мара, ёмкость для гения. <i>Повесть</i>	53
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Череп Гоголя. <i>Рассказ</i>	74
Илья НАУМОВ. Городской блюз. <i>Фрагменты времени</i>	90
Эгвина ФЕТ. Квадратным слогом посреди лета. <i>Стихи</i>	100
Александр ШЕВЧЕНКО. Рассказы	102
Сергей МАРКЕЛОВ. Разные виды снега. <i>Рассказ</i>	109
Михаил МОСКАЛЁВ. Падение гласных. <i>Рассказ</i>	124
Александр ВЕРГЕЛИС. Плавки. <i>Рассказ</i>	130

ДРУГАЯ ОПТИКА

Терентий КОНДРАТЕНКО. Пятая эссенция. <i>Стихи</i>	136
--	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Александр ВАСЬКИН. «Второй съезд — кто кого съест».	
<i>Съезды советских писателей глазами их участников</i>	139
Юрий КАГРАМАНОВ. Квентин Тарантино как зеркало Новой американской революции	163

НАЦИЯ И МИР

Юлия ЕФРЕМЕНКОВА. Янтарь. <i>Светлогорские записи</i>	170
---	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Максим ГУРЕЕВ. Андрей Битов. Мираж сюжета. <i>Главы из будущей книги</i>	176
--	-----

КРИТИКА

Александр МЕЛИХОВ. Культовое трио, или Чего нам не хватало	241
Сборный пункт. <i>Заочный круглый стол. В этом номере — размышления</i> <i>Евгения АБДУЛЛАЕВА, Марии АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА,</i> <i>Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА,</i> <i>Александра ЧАНЦЕВА</i>	249

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Учебник понимания (<i>Ирина РОДНЯНСКАЯ. «Книжная сотня: Малоформатная литературная критика с приложением "Четырёх векторов внимания»</i>)	264
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Пусть этот мир прогнётся под нас	268
--	-----

Сергей Золотарёв

На вышколенной шкале

* * *

жизнь прощается с нами смыслами
лишь в конце понимаешь что
для того чтоб собраться с мыслями
можно просто надеть пальто

и пойти прогуляться — синтеза
и анализа ни следа
перед нами обычный ситизен
созидающий слово да

позабытый кусочек лакмуса
повторяющий путь слезы
лакримоза ему за лакомство
в бакалее дрожат весы

и никак не задержат стрелкою
взгляд на вышколенной шкале
потому что мышление зрелого
обывателя на нуле

он всё чувствует точно дерево
но почти не осознаёт
потому-то и сердце стерео
и душа-то его поёт

* * *

отпечатки пальцев на стекле
листья клёна те же отпечатки
древней формы жизни на земле
на твоей горящие сетчатке

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Учился в Государственной академии управления им. С.Орджоникидзе. Автор двух поэтических книг: «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2020). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живёт в г. Жуковский.

в общем всё залапано вокруг
а внутри как статуя Венеры
сердце помещается без рук
без надежды и без атмосферы

* * *

небо забрано пеленою
капли бьются
в лобовое стекло в теменное
в чашки в блюда

всё сдвигается на полтона
здесь бемоли
под ногой твоей как поддоны
против воли

поднимающие над лужей
над равниной
хоть тебе ещё такт бы нужен
с половиной

чтоб Дедал привязал Икару
термопару
в воротник словно яд кураре —
знак бекара

отменяющий смыслы лица
полумеры
чтоб вернее размыть границы
атмосферы

* * *

чувствам ветреным и низменным
спелый маятник не враг
часовыми механизмами
заполняется овраг

листьев мельные зубчики
на древесном колесе
недостаточно изучены
чтобы время знали все

слышно только — мерным анкером
мой народ напра-нале-
во за чёрно-белым ангелом
отправляют по земле

* * *

как с друзьями прощаемся с листьями
провожаем их взглядами в путь
и Платан мне дороже чем истина
человечней чем голая суть

имяреку дана Богородица
потому что до Бога Отца
ещё столько всего нагородится
что накрутят ему три конца

чтоб такое искусство оттачивать
как забота мещанство и быт
крошат жёлтые листья над дачами
словно в лужи бросают карбид

где родные живые нестарые
полюбившие ёмкость 0,5
поутру призываются парами
чтобы полный объём заполнять

* * *

в сущности я думал о другом
взяв вино и хлеб горячий шоти
но как был по жизни ветрогон
то и осознал себя в полёте

лес стоял практически пустой
жив одной тончайшей паутиной
стянут ею как тросами столб
телебашни прочно и интимно

птицы если были то вели
образ жизни замкнутый и строгий
скромный что касается земли
то её не чувствовали ноги

странная лесная пустота
если продолжать сравнение с башней
всё передающая туда
в будущее или во вчерашний

день как оборудование для
утреннего радиобмена
всё чем примечательна земля
именно отсутствием и ценно

я ходил и хлебом заедал
свежим охлаждённое сухое
заглушая собственный сигнал
и округу делая глухою

* * *

в этой жизни есть частички
отголоски жизни той
что выходит за кавычки
длится после запятой

тени птиц не совпадают
с голубями до конца
приглядишься те летают
те прохаживаются

запертые в катакомбах
сонмы бедных эвридик
у поверхности на пломбах
образуют нервный тик

и какой-то глупый птенчик
повторяет за одной
тенью жестом быстротечным
долгий путь её земной

Александр Зайцев

Улыбка Мэри-Энн

Повесть

О дружбе

Долин вообще вызывает симпатию. Правильные морщины, трудоголик. Ходит в дешёвой одежде и весь в своей семиотике и мультимодальности. Отстаивает науку, не боится оскала авторитетов. Охотно демонстрирует юмор, в компьютерные игрушки играет, несмотря на то что доктор наук и сорок. Жена его, говорят, бросила. Не заносится, со мной охотно болтает по-простому, прогуливаемся иногда после пар от вуза до метро.

Двадцатитрёхлетний, я иду с ним и чувствую себя уверенно. Понятно, он в профессии умнее, ну так и я таким стану. А пока учусь в аспирантуре и в багаже оконченный вуз, до этого год в Америке (1995—1996) — тогда я был пятнадцатилетний малёк, но языковую базу заложил солидную — хорошо перевожу, особенно люблю устно — язык подвешен и произношение что надо. Поэтому в общении с Долиным не тушуюсь.

Иногда он говорит что-то для меня неожиданное: не против, допустим, воров-чиновников, с чем я бы полностью согласился, а с нелюбовью к России как таковой (при этом себя от неё, получается, обособляет, хотя логика здесь малопонятна), озвучивает обобщённое высмеивание, вроде про уродство храмов и людей, — нет, и храмы бывают так себе, и уродов хоть отбавляй... А потом этот всплеск затухает, как будто не было, снова милейший человек.

Москва долго удивляла. Всего много, а под меня почти ничего: тогда в чём смысл многоти? (Проблема, видимо, в том, что теория главенства малого всегда мне была близка органически.) Из москвичей я подружился только с прозаиком-математиком Репановым, на литсеминары которого ходил, — он старше на двадцать лет, — и ещё с лингвистом Найманом, научным руководителем, — он был глубокий старик, — и произошло это вряд ли потому, что я находил в их суждениях и реакциях больше логики (это слово скорее всего вообще не понадобится нам на следующих страницах), — хотя первый, кстати говоря, преподавал логику и даже написал учебник,

Александр Зайцев — лингвист, переводчик. Родился в 1979 году в Ставрополе. Лонг-лист премии Дебют-2005 (короткая проза). Печатался в журналах «Новый берег», «Крещатик» и др. Автор трёх книг прозы: «Старое общежитие» (2009), «Тектоника» (2012), «Убежище Бельвью» (2020). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

а второй просто был с нею хорошо знаком, — да и учился ещё чуть ли не во времена Аристотеля.

Одиночества в Москве я долго не испытывал — наоборот, после нескольких лет общежитий радовался пустой съёмной квартире.

Друзья и подруги заглядывали в гости. Мы охотно общались. Нередко подруги задерживались до утра — после литсеминаров, работы, совместных лекций в аспирантуре.

Долин, может быть, отчасти прав в тотальной негативности... Только я бы убавил ярость... и в то же время не ограничивался соотечественниками... Тут меня кто-то не поймёт... Кроме подонков и стерв есть же много чего ещё. Плохость может быть тихой, улыбчивой, симпатичной. Хорошесть — несовместимой, вызывающей равнодушие.

Заехала в гости Дашка — мы учились в инязе, она на год младше, — гуляли по бульвару, в Цветнике, на склонах Машука. Мороженое, пиво. Иногда целовались на горных тропинках. Всё эпизодически. Она говорила: «Ты лучший». Это смешно, да и непонятно, что имела в виду, но фраза закрепилась.

Она перебралась в Москву позже, только в 2005-м, кажется. Филологию оставила, не её это. (Я подумал — зря, конечно. Сколько фантастических дур филологию не бросают, а потом защищаются и «делают науку». Уж Дашка была бы учёным посильнее их.) Устроилась менеджером в японскую компанию. Всякая электроника. Тяжело с нуля вникать в новое. А где живёт? Нашла москвичку — через интернет, поженились. Он сильно старше — показала фотографии. Ну, дай Бог.

После литсеминара вечером сидим с литераторами в «Китайском лётчике» (я вроде теперь один из них — не лётчиков, литераторов). А Дмитриев, выпив рюмку, говорит: напишу о тебе статью. Куда? В журнал «Омега». Новая площадка. Я говорю, спасибо. Дмитриев с бородой и очень начитан. Цитирует Кьеркегора, Селина. Он как бы старше, хотя мы ровесники, и как бы везде — пишет, выступает, критикует, переводит, организует, публикует. Всех знает. Откуда энергия. А главное — свободное время. В конце вечера шепчет, не найдётся ли двести рублей. Найдётся. Около полуночи собираюсь уходить, мне утром на работу, — все шумят, веселятся, Дмитриев крепко жмёт руку.

Я не помню многих мест, в которых мы бывали, а из тех, что помню, многих уже нет. «Китайский лётчик» только, похоже, вечный.

Из многого я помню фрагменты — какие-то блики света, деревья, лужи на тротуарах, порывы ветра с привкусом осеннего дыма, мышцы, разогретые ходьбой, непредсказуемая московская архитектура, разговоры с Репановым — опять же, не всегда конкретные, а общий строй: единственное хорошее качество текста — если текст живой; как этого добиться — стилистически никак, но у некоторых происходит; писать надо, даже если не очень идёт; единственный достоверный критерий — вкус. Любит анекдоты о Москве. Что бы ни говорил — во всём слышу доброкачественность.

Профессор Найман тоже имел здоровое нутро: герой войны, создал лингвистическую школу (один из немногих мыслил не частностями — видел общую картину), у него были доброжелательность, юмор, какое-то общее бесстрашие...

И вообще интересно с теми, кто умнее.

Я не хотел быть ни Репановым, ни Найманом, ни их смесью, хотя они мои учителя, ни кем-то ещё. Видимо, где-то внутри есть особый, подлинный я.

Вру — один раз точно хотел. Как-то весной видел в Крыму женщину. Она — подтянутая, тридцатипятилетняя примерно, в кроссовках и коротком пуховике, — шла по безлюдному Воронцовскому парку, улыбаясь, — подошла к огромному дереву — кажется, платану — и с невероятной любовью и спокойствием обняла этот

чёртов платан. Прижалась и замерла на минуту. Я ей позавидовал. В другие дни ритуал повторялся. Я проследил за ней — она торговала всякой ерундой в палатке у восточного выхода — сувенирным мылом, магнитиками, — материлась, курила с подружками, обычные дела, но я видел что видел, — безмятежные свободу и счастье, счастье и свободу.

Или не знаю, как это назвать. Догадываюсь, оно идёт изнутри, не обстоятельство. Наверное, это в ней внутренняя настоящая она совпадала с нею внешней. Наверное, так.

Надо же, вспоминаются мелочи, а целые пласты как будто уходят в туман — например, до переезда в Москву были пятигорский университет, сокурсники... Щенячество — возможно, потому и забыл сейчас. (Как бы забыл.) Но в те древние годы казалось, что главная реальность.

Я вправду верю: наше время — не цепочка самообмана, где текущее воспринимается как главное, а через пять-десять лет видится как ничтожное, уступая место новому текущему. Я верю: при правильном векторе сиюминутная повестка постепенно становится более весомой, чем прошлая, стоит большего.

По итогам двадцати лет — из москвичей только Репанов и Найман меня полюбили, как я их (Репанов и сейчас любит, Найман умер), и к тому же оказались — шутка ли — да просто лучшими в своём деле.

Остаётся похвалить себя: неплохие друзья.

Долин, между прочим, эмигрировал — кажется, во Францию или Бельгию — после периода работы в институте ФСБ, когда был невыездным. Потом уехал и так же занимается семиотикой, носит простую старую одежду, хихикает и время от времени разряжается в фейсбуке — выкладывает, например, икону Богоматери с Христом — с пририсованными обезьяньими мордами. Живёт в Антверпене или Безье.

О Боге

— Я почти сирота, — говорит Вова Подточий.

А я и не спрашивал ни о чём. Но он продолжает:

— В том смысле, что отца я никогда не знал, а мать гуляла направо. И сейчас гуляет. Мурманск — такой ад, если честно... Но я сам выучился, сам поступил... И вот в Москве, учусь на переводчика.

Жаль его, конечно. Зачем он мне это говорит? — Бывает, пооткровенничать нужно. А может, вызывает жалость. Но зачем?

Я докуриваю, жму ему руку и иду в свою общежитскую комнату.

Тёплый ли я человек? Не знаю. Пожалуй, нет. Но плохой ли? Скажем так: не говно.

Может быть, кстати, отсутствие теплоты для многих и вот это вот второе как-то связаны... Как бывает в физике или химии. Но это только предположение.

Антон, моего друга, все, кто встречают хоть раз, считают отличным человеком. Коля, уж на что критикан, и тот после первой встречи сказал: «Это лучший из твоих кентов». А такой похвалы от Коли не заслуживал никто. При этом в обществе Антона он провёл часов пять.

Антон высокий красивый мужик из уральской глубинки. Вернее, теперь уже по годам мужик — я же пишу это из 2022 года, — а при встрече он был увлечённым парнем

Татьяна Филатова

Бабочка и скафандр

Рассказ

Есть ли в космосе ключи, чтобы отомкнуть мой скафандр? <...>
Достаточно крупная монета, чтобы выкупить мою свободу?

Жан-Доминик Боби, «Скафандр и бабочка»

Первый раз я пришла сюда в ужасную погоду. Дул сильный ветер, и шёл мокрый снег, обжигающий до зуда.

Тогда я выбежала из дома в тонких колготках в мелкую сетку, тут же замёрзла, но полушерстяные проступали бы сквозь костюмную ткань. Рассчитывала, что буду выглядеть серьёзно, взросло и уместно, если надену строгую юбку и тугую блузку, даже собрала причёску-шишечку. Когда вошла в огромные двери из стекла и металла, сдала в гардероб длинное пальто, по мокрому от метели лицу стекала тоналка, а само лицо было в красных пятнах. Окоченевшие пальцы багровели из-под рукавов приталенного пиджака, волосы наэлектризовались. Я поднялась по гигантской бетонной лестнице напротив огромного окна, чувствуя неловкость и прикидывая, какой вид открывает разрез моей юбки. Все мои старания окончательно разбились о директора, которым оказалась женщина раннепенсионного возраста.

Из-за недостатка молодых кадров меня взяли на работу, к моему удивлению, сразу же. Разлохмаченную шишку и красные колени никто не заметил, почуяв молодую кровь. Вот так просто я получила первую в жизни запись в трудовой, да ещё почти по специальности: «Библиотекарь третьей категории». С тех пор я ходила сюда каждый день, кроме субботы и иногда воскресенья.

* * *

Библиотекари, оторвавшись от ладошек внуков, пропахнув всеми ароматами утренних маршруток, гремя пластиковыми контейнерами в дерматиновых сумках, бежали по утреннему морозцу в свой второй дом, где большинство из них работало с окончания школы или института. Они приветствовали друг друга в просторном холле,

Филатова Татьяна Олеговна родилась в 1991 году в Ульяновске, образование высшее, по специальности дизайнер. Участница Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (Липки) в 2019 и 2021 годах. Автор книги «О чём молчит лес» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов. Живёт в Ульяновске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

расписываясь у восьмидесятилетнего охранника в журнале, и, звеня ключами, расходились по тёмным коридорам самой большой библиотеки города. Здание построили к столетию Ленина, оно уже выглядело удручающе, но было младше подавляющего большинства сотрудников.

Я ходила на работу пешком, избавляя себя от всех прелестей часа пик, когда пики локтей и каблучков штурмующих утренний транспорт впадают в самые уязвимые части тела. Хорошо, жила я в двух остановках от работы. Родители купили квартиру в центре, когда их строительный бизнес пошёл в гору, так что главная библиотека, играя солнечными бликами на фасаде с витражным остеклением, всегда была видна на горизонте из окна моей спальни. И, как оказалось, на горизонте моей жизни, но я начала думать, что на её закате.

Я была старостой группы на филфаке, училась без троек, легко защитила диплом, считала, что я более или менее готова работать по профессии. Придя на работу, быстро освоила основные хитрости. Вручать талончик посетителя нужно всем, даже тем, кто просто зашёл в туалет. Фотографировать трёх человек у книжной выставки нужно всегда в профиль, создавая эффект толпы. Правильная формулировка превращает встречу городских сумасшедших в читальном зале зимним вечером на фоне книг о жизни и творчестве Карамзина в мероприятие, посвящённое дню памяти великого историографа, участники обсудили его вклад в развитие культуры и познакомились с новинками книжного фонда». Самое главное — это не сама работа, а отчёты в министерство культуры, сданные вовремя и подтверждённые удачными фотографиями. Тогда я поняла, что значит шуточка из пабликов: «К такому жизнь меня не готовила».

Как склеить два старых новогодних баннера для украшения фасада, чтобы закрыть прошлогоднюю дату? Как из трубочки для сока и цветной бумаги собрать подарок дарителям книг? Как с первого раза засунуть в старый чёрно-белый принтер пустой бланк диплома и впечатать фамилию победителя конкурса чтецов так, чтобы толстую бумагу не зажевало? Как уговорить директора хлебзавода подарить на праздник чтения самый дешёвый торт за благодарственное письмо, распечатанное на том же принтере? Как из копеечной закладки сделать приз? Всё это во власти среднестатистического библиотекаря — не утончённой филологини, коей я хотела стать, когда вырасту, а тётки-очумелые ручки. «Голь на выдумки хитра!» — хохотнула после одного такого фокуса заведующая и открыла свой мини-бар, спрятанный за дверцей полированного советского шкафа для верхней одежды.

Я поняла, что влилась в работу, когда поймала себя на том, что разглядываю на полу в гипермаркете разбросанные листья от пластиковых цветов, представляя, что если их воткнуть в трубочки для сока, валяющиеся рядом, то получится вполне приличная атрибутика для праздника весны. Хорошо хоть, эта самая весна уже рядом. Из тени библиотечных стен, покрытых трещинами краски, тёмных стеллажей и запаха ковровой пыли можно будет выйти в сад, посаженный пионерами-отличниками пятьдесят лет назад, и на какое-то время вынырнуть из мира планов и креативных головоломок.

Мне, как самой молодой, поручали росписи гуашью по стёклам отделов на все праздники: это был самый бюджетный вариант оформления интерьера. От такой работы у меня ломило спину. Я вспоминала, что ходила на фитнес недавно, в декабре, но как будто уже пару лет назад.

Ещё осенью моя жизнь была предсказуема и понятна. После универа — курсы английского, танцы, фитнес, и так каждый день. Я готовилась к свадьбе: за год был заказан ресторан, составлен список гостей, найдены лучший фотограф и модельерша.

Но потом жениха неожиданно отправили в полугодовую командировку, а мой отец решил, что я должна научиться жизни. Тогда все мои развивающие курсы закончились, а курсы по выживанию начались. Единственное, что я могла себе позволить с рабочим графиком, — спортзал недалеко от библиотеки. Там я его и встретила.

* * *

Планы и отчёты, отчёты под планы, а планы под отчёты. Умение подогнать одно под другое — очень ценный навык, когда ты постоянно должен отвечать на странные запросы. К нам пришло письмо из минкульта о проведении на базе библиотеки регионального этапа «Всеобщего диктанта».

— Это же диктант. При чём тут мы? Мероприятие министерства образования, — глядя в отсканированный документ за подписью министра, удивилась я.

— Я уже звонила боссам. Завотделом по культурным проектам заявила, что в минобре сказали, что, если вы не возьмёте, возьмём мы. Вот минкульт и спустил нам. Для них это плюс одно культурное мероприятие, для нас — плюс двести человек посетителей, — развела руками заведующая, ещё вполне молодая среди наших бабушек, сорокавосемилетняя Анжелика Николаевна.

— А помощь какая-то будет от минобра? Где тексты брать, кому диктовать? Ручки, листочки?

— Тексты пришлют в закрытом пакете, открыть перед участниками. Диктовать будет наша Луиза Викторовна, она тридцать лет в школе отработала словесником. Ручки народ свои принесёт, а листочки — вот они все, — она кивнула на початую последнюю пачку офисной «Снегурочки». — Но это ещё что! Кофе-брейк — чай, кофе, пирожки, джем — тоже наши!

— Ну ничего себе! А им этим джемом ничего не намазать?

Анжелика утробно гоготнула. Она уже десять лет как библиотекарь, ничему не удивляется. Раньше хотела уйти, а теперь не может: на ней ипотека за студию сына.

— Иди книжки на выставку подбери.

— Какая тема?

— Морально-просветительская. Молодёжь в основном придёт писать. «Один раз и на всю жизнь».

Я выпучила глаза и щёлкнула обеими кнопками мыши, на экране высочил помощник в виде скрепки.

— Лик, как я буду по ней рассказывать? Только рот открою — и всё, конец...

— Да не бойсь! Тут нужна не ты, а умудрённая опытом бабушка. Любовь Дмитриевна из читального зала всё им расскажет. Она как раз в третьем браке, уже поняла, что и как надо. — Лика улыбнулась: — Жень, иди давай, библиографы найдут тебе каких-нибудь православных авторов. Потом есть будем. Я селедку на выходных посолила, угощу тебя.

Я вышла за дверь, спустилась на второй этаж нашей библиотеки в единственный отдел, где книжки действительно читали. Ну, как читали? Скорее пролистывали, составляли описание, вбивали данные в электронную картотеку, тоже для галочки, сортировали книги. Там работал цвет нашей организации: бабушки с высокими кудрявыми причёсками, острыми пальцами и кислыми лицами. Со стопкой книг и распечатанным на розовой бумаге заголовком в вензелях и полосками от принтера я спустилась на первый этаж, в холл. Здесь стоял стеллаж для книжных выставок. Нужно было составить композицию: несколько книг красивыми разворотами наружу, новые издания на уровень глаз, остальное — вниз, как по заветам «Пятёрочки».

Когда работа была закончена, я водрузила над всем этим великолепием чудовищно розовый заголовок. Бледная сажа гласила: «Один раз и на всю жизнь!» Я достала телефон, сфоткала свою душеспасительную работу и отправила по iMessage Антону. Он не заставил себя долго ждать: «Какая прекрасная подборка! У нас так и будет! Ты моя девочка» и красное сердечко. Антону нравилось, что я работаю с книгами, «просвещаю людей, несу им лучшее, доброе и светлое». Знал бы он, чем я тут на самом деле занимаюсь.

Ту же фотку я отправила номеру без подписи и получила в ответ: «Раз на раз не приходится» и смеющийся до слёз смайлик. А следом: «Поехали на Волгу сегодня катнёмся? Ледоход». Я положила телефон в карман.

* * *

К нам в кабинет ходили выпить с горя все униженные и оскоблённые библиотекари: кого дети довели на выездном мероприятии в школе, на кого директор наехала за то, что плохо пиарит платные услуги электронного читального зала по тридцать рублей за час, на кого наорали из министерства за «плохие цифры». И всё это за зарплату, равную стоимости одного захудалого онлайн-курса. Такой напряг! А все думают, что библиотекари на работе спят и книжки читают, ага. Зачем они всё это терпят? Да потому что деваться некуда. Они ведь не офисные работники, а люди культуры — нищей, бюджетной, невостребованной и не оправдывающей ничьих ожиданий.

Лица всем милосердно наливали. Лица гнала сливовую самогонку.

— Лик, привет, есть что? — сунулась в дверной проём рыжая от хны голова Веры из методического.

Каждый день я слышала, как Вера втолковывает по телефону бабушкам из области, как нужно составлять отчёты, как создать виртуальную книжную выставку или как правильно заполнить форму на конкурс «Библиотекарь года». Она отвечала за работу всех сельско-деревенских библиотек. Себя, Веру и Аню из отдела литературы для дошкольников Лица называла «блятекари». По праздникам, иногда по пятницам, они втроём, заранее выпив на работе, ходили в кафешку, там догонялись и танцевали дикие танцы. Рассказывали, что даже диджей их запомнил и в перерывах между песнями передавал привет работникам библиотеки, а они визжали в ответ. Всё это казалось таким неочевидным, пока я училась.

В марте уже начинаешь ощущать приближение весны. Снег в ясный день слепит до слёз, небо выглядит тёплым и высоким, как будто оттаявшим. В это время веснушки начинают вылезать у меня на щеках, а мой одноклассник уже выходит во двор чистить снег лопатой голым по пояс, как делал это, пока мы учились. Говорил, что загар в марте получается шоколадный, как южный. Желаящих повторить за ним не находилось. Я потёрла переносицу, как будто нащупывая веснушки. Интересно, в этот раз они появятся? Я прихожу на работу в сумерках и ухожу в сумерках, обедаю за рабочим столом. Антон говорил, что мои веснушки ему нравятся. Мы с визажистом даже думали подчеркнуть их свадебным макияжем.

Вечером, когда я вышла с работы после звонка, напоминающего мне о школе или о заводе из советских фильмов, небо было уже по-вечернему синее, словно чернильное. Ветер дул с реки, которая огибает город, я вздрогнула и подняла воротник пальто. Если и ехать смотреть ледоход, то одеться надо теплее. Завтра суббота, а это значит, что мне придёт очередная коробка. Антон заказал доставку цветов к нам домой до самого дня свадьбы, и теперь коробки приносят по утрам в субботы, каждый раз разные. И каждый раз Антон просит прислать фото с этими цветами.

Так он заглаживал свой длительный отъезд.

Елена Крюкова

Голая лирика

* * *

День зачёркнут — и ладно. День оторван — и ладно. Отрывной календарь провисает,
Виснет, мост над пропастью. Никто никого не спасает,
Хоть желает спасти. Или делает вид, что желает.
Это мёртвая времени зыбь притворяется, что живая.

Люди друг по другу лупят прицельно, наводкой.
Люди в соль океана толкают друг друга из отчаянной лодки.
Планы стройте, да, сочиняйте, кому и по ком вдарить первым.
Только некому будет песню петь: ах, война, что наделала, стерва.

Аз есмь гость. Аз есмь кость во земле. Лунный, каменный шлем я надену.
Попаду хорошо, глаз-алмаз, медсестра, я убитому в вену.
Оторви ещё день. Ещё тень. Сколько лун ещё до приговора?
Бросьте вы притворяться. Давайте уж прямо: скоро, да, скоро.

Говорил мне мой дед: придут времена, порастут волчцами,
Горе бабам, что будут тогда питать сосцами.
А я бормотала: дед, хочу рожать и растить и нарочно буду,
А война не придёт, знаешь, я верю в чудо.

...и теперь, хоть бита и гнута, я в это дикое, зверие, Божие чудо верю.
Нам осталась минута? Ногой отворяю двери.
Я перед тобой, мой последний бой, сердца Морзе, изморозь на траве, последний
глоточек
Поцелуев, проклятий, объятий, точек-тире... тире, поцелуев, точек...

Крюкова Елена Николаевна — поэт, прозаик, искусствовед. Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. А.М.Горького. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Нижнем Новгороде.

* * *

Я научилась не сетовать, не роптать,
Не восставать на судьбу. Бесполезна моя борьба.
Смиренье идёт — полк за полком, за ратью рать.
Благодаренье, видно, и есть моя судьба.

«Люди и получше нас жили и похуже нас!» —
Говорила мне тихо любовь моя, её больше нет.
Можно шелками-яхонтами расшить каждый день и час,
А не приукрасишь судьбу: на её обман наложен запрет.

Я всё под куполами висела, лазала по стенам.
Я всею собой закрашивала храмы, самой собой.
И я не знала, что я-то и есть самый главный храм,
Но он давно расписан — не мной, а судьбой.

И вот я, задрав голову, сама на себя смотрю.
Сколько дорог по зиме! Сколько срубленных Райских садов...
А кто это там так медленно, тихо, нежно идёт к алтарю?
...Господи, да ведь это ещё живая моя любовь.

* * *

У меня ты знаешь всё хорошо
сын далёко на краю света уехал навек
я здорова телом плачу душой
не взахлёб а немного ну как всяк человек
да не слишком здорова там кольнет тут болит
ну так то не диво у каждого так
да не плачу а просто реву навзрыд
заливаю слезами год век и мрак

У меня поверь всё в натуре тип-топ
иногда тик-ток а чаще тик-так
кто-то хочет чтоб скорее легла я в гроб
и закрыл меня мой древний кровавый флаг
а я всё таращусь ночами не сплю
всё пою Богу ноты помимо слов
в зеркалах отражаюсь помимо снов
а наутро чужая ненависть во хмелю
обливает грязью моё — люблю
заливает кровью мою — любовь

У меня не бойся да не бойся ты
столько боли скопилось в немой груди
что по мне — мосту неземной красоты —
ты ко звёздам спокойно так перейди
боль когда застынет крепче камня-льда
люди били-били и кровь перестала течь
разве камень кровит да ты что никогда
кровоточит хрипит только речь

У меня лишь ты ты пока ещё здесь
это тебе кажется что ты далёко утёк
ты дрожанье локтя поцелуя взвесь
ты холодный мой пол слепой потолок
Ты моя лампа Дэви под потолком
ты горишь вполнакала мой волчий глаз
долгий вой припрятанный под языком
про запас

Не волнуйся и правда всё зашибись
всё пою о жизни о чём же ещё
а меня на прощанье целует жизнь
упоённо счастливо горячо
вся моя ты жизнь вся любовь моя
я так редко тебе это шептала ну вот
на краю судьбы
на краю бытия
это наш пароль наш больничный код
наш на переход — песнею без слов —
отрывной билет в перекрестье рук
ты моя душа ты моя любовь
ты не плачь не плачь если что если вдруг

* * *

Как меня сюда, в эту жизнь, забросило, я и сама не поняла,
Выбиралась из тесной пещеры, задыхальной, мрачной как ночь,
Звёзды плыли, живот горой на стерильном краю стола
Воздымался, и матери показали, и горло хрипело: *дочь*.

Береги ты жизнь, кто бормочет, непонятно, зачем, кому,
Это мне, или это я себе бормочу,
Всё равно, транжира, рассею, растрочу, кану во тьму,
Понесу пред собой дыханья оплавленную свечу.

Эх, а жизнь-то — чудо!.. догадалась я, кляча, да поздно так,
Лошадиные ноги шагают, все мы прекрасно знаем, куда,
Этой жизни мы кажем то кукиш, то язык, то кулак,
То целуем её икону, обливаем слезами, беда.

Вот валяешься ты на койке жизни, и встать невмочь,
А на свежем воздухе у подъезда водку пьют алкаши
Из горла. Вот ты жизни хрипишь: *мама!..* — блудная дочь,
А тебе доктор Жизнь приказывает: *дыши, не дыши*.

А ты доктору хрипло шепчешь: *позовите в палату, сюда,*
Этих ангелов двух, забулдыг, на троих мы сообразим,
А к тебе по воздуху пешком идут пьяные города,
А материка под тобой облаками плывут, пьяные в дым.

И планета Жизнь так медленно поворачивается под тобой,
Под косящим зрачком твоим, шупающим бытие
Пьяно, слепо, моляще. И солёной дрожащей губой
Мать целует тебя, ещё безымянную, всю в крови, во имя твоё.

Последние праздники

Никогда ни за кем внахлёт не гналась
Никому не пела славу взахлёб
И себя ни пред кем не бросала во грязь
В кровь не разбивала просящий лоб
Ты не бойся придут да и всё дадут
От заоблачных ли от земных щедрот
А к обрыву не смей ой там берег крут
Там и смертушка — жизнь только наоборот

А сегодня насквозь прошибло меня
Поздней молнией так слепяще простой:
Завершается круговерченье дня
Перед ночью великой молча постой
Перед Праздником Ночи которую не
Понимаешь и не поймёшь никогда
Метеором сторишь во звёздном огне
Тьме кромешной светом выдохнешь: да

Я спешу вам сказать я люблю вас всех
Тороплюсь напоследок пробормотать
Это Праздник Ночи далёкий смех
Все плывут по реке огней благодать
По небесной воде в легчайших ладьях
Во счастливых тоньшей стрекозина крыла
Исчезает боль исчезает страх
Исчезаю я была не была

Я была-была да и вот сплыла
Я была-была не нужна никому
Это лишь обман что до дна дотла
Ни следа ни камня — пулей во тьму
А по чёрной реке всё плывут ладьи
Нежный Праздник Ночи мой карнавал
Мой Иван Купала Святки мои
Снежный мой городок — кто повоевал

Милый Праздник стучи беззвучно греми
Безголосо вопи невесомо танцуй
Я плыла-плыла меж всеми людьми
По щекам — свеченьем солёных струй
Я лишь хохот ваш люди ель-конфетти
Я печать и заплата на больничном белье
Я лишь хрипкое ваше прощай-прости
Там во праздничном хоре на высокой скамье

Игорь Булкаты

Мара, ёмкость для гения

Повесть

И.Д.

За два дня до его смерти мы сидели в цокольном помещении пустующей квартиры нашей общей знакомой Зины, с которой некогда работали вместе на телевидении. Они бегали в помрежах, а я был осветителем. Мара тоже была помрежем. Собственно, мы все познакомились на телевидении. Это был конец семидесятых, самый разгар застоя. Мы с Борисом, усатым доходягой с длинными волосами, ассистентом телеоператора, слыли грозой девиц-помрежек, постоянно донимали их, и те в слезах, сметая всё на пути, мчались по длинному коридору Северо-Осетинского телецентра жаловаться шефу, седому как лунь, высокому старику без указательного пальца на правой руке. Тот вызывал нас к себе в кабинет, журил, требовал порядка и уважительного отношения к дамам. Каждый раз, пожимая его беспалую руку, казалось, будто он тайно хочет передать нам шпионскую записку, спрятанную за согнутым пальцем, и мы смиренно кивали головами. Однако через некоторое время всё повторялось снова. Маре с Зиной тоже доставалось от нас, но, в отличие от других, они никогда никому не жаловались. Однажды подошёл Виктор и сказал, что если мы ещё раз тронем Мару, то он набьёт нам морды. Признаться, мой друг был ещё тот мордобоец, но мы с уважением отнеслись к его требованию и больше помрежек не донимали.

В комнате из мебели был только письменный стол со стопкой бумаги и пишущей машинкой «Оптим», на которой работал ещё мой отец, и стул. На полу лежал матрас с одеялом. Я сжалился над ним и купил в ближайшем гастрономе бутылку смирновки, и мы стоя выпили из горла. Виктор сел на матрас, прислонился спиной к ободранной стене, и у него развязался язык. Он сказал, что не собирается писать об этом, потому что каждое слово, каждая буква всегда были адресованы Маре, и он видел, с какой благодарностью читает она его опусы, надрывные и бессвязные, но чистые как родник, а теперь жена отвергла их, заявив, что Виктор бездарь. Я попытался его переубедить, и тогда он заплакал. Наверное, его развезло от водки, наверное, одиночество сжимало ему сердце как никогда, но дело было не в этом — Виктор потерял доступ к ёмкости, в которую он сливал всё своё недовольство неудавшейся жизнью, сдобренной

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. Прозаик, поэт, переводчик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 10.

писательским талантом, что в некоторой степени оправдывало его существование и беспробудное пьянство. Да, жена была Виктору ёмкостью для его пьяных бредней, которые временами все читают с упоением, покачивая головами в такт учащённому сердцебиению, но об этом может догадываться только близкий друг или женщина, да и то в той мере, в какой хватит сил терпеть его выходки, и это терпение по сути и есть индикатор таланта. Виктор догадывался обо всём, но продолжал писать, даже когда похмелье обостряло самокритичность до рези в глазах, собственная никчёмность пересиливала ломку, и он присаживался к письменному столу, стучал трясущимися пальцами по грязным клавишам и, оскалившись, говорил кому-то: «Так тебе, сука!» Он писал, не надеясь, что когда-нибудь его оценят, писал, потому что лежащиеся на бумагу слова отодвигали тот момент, когда вопрос — как быть дальше? — повисал под потолком на старомодном коричневом абажуре с жёлтыми кисточками, и знакомое с юности чувство, отдалённо напоминающее вдохновение, баюкало его воспалённое сознание. Разумеется, в своих несчастьях Виктор винил кого угодно — высшие силы, производителей палёной водки, умерших друзей и даже жену, у которой просто лопнуло терпение, — но не себя.

Я аккуратно прочитывал его прозу не только потому, что он был моим другом и поневоле пришлось стать участником этой кафкианской истории, но и потому, что лично у меня не оставалось иного метода воздействия на здравую или на трезвую часть его сознания. И однажды я понял, что всё его творчество — не бред, не забава, а нечто большее. Что вся жизнь Виктора — его поведение, обусловленное пьянством, его мысли, его отношение к близким, наконец, манера его письма, словно он лежал в больнице и каждое утро начиналось со сдачи анализов мочи и крови, — была подчинена некоему закону, объяснение которому находится лишь после смерти. Казалось, он страдал душевной анемией, и лишь алкоголь восполнял недостающие вещества в его организме. Только так я могу объяснить странности поведения моего друга и то, как была шокирована Зина, добродушная широкобёдрая дама с круглым лицом, когда она принесла ему в банке горячий борщ, вошла в квартиру, демонстративно зажимая пальцами нос, и уставилась на Виктора широко открытыми глазами — тот был в Мариных трусах и бюстгальтере. Зина давно развелась, сознание её вряд ли было отягощено мыслями о сексуальных фантазиях мужчин. Она постаралась совладать с собой и писклявым голосом поинтересовалась: что, теперь Виктор носит Марино бельё? Виктор достал из буфета ложку, открыл банку и стал хлебать борщ, не обращая на неё внимания. Заметив, как большим и указательным пальцами он оттягивает бюстгальтер и суёт его себе под нос, Зина решила, что Виктор свихнулся окончательно и завизжала — чего это он принимает к лифчику? Не глядя на неё и продолжая жевать, Виктор заявил, что у Мары маленькая грудь, и даже когда она кормила дочь, была удивительно маленькой, но пахла домашним уютом. Каким ещё уютом, чего он несёт, если Виктор не прекратит, то она упечёт его в дурку. Виктор закашлялся и стал стучать себя кулаком в грудь. Утерев выступившие от кашля слёзы, он сказал, что скоро умрёт, прыгнет вниз головой в Терек и умрёт. Затем усмехнулся и добавил — шутка. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, тем более когда ты отъявленный пьяница и опротивел всем, кроме подруги юности, на которую не встанет даже у гориллы, а бывшая жена перестала красить волосы и ударилась в религию, выстаивает по утрам службу, под педерастический голос духовника грызть ногти. Как же она счастлива без Виктора, если б только знала Зина! И Виктор доставит ей гораздо большую радость, если он бросится в Терек вниз головой и разобьётся насмерть. Но — не дай Бог! — выживет, останется калекой на всю оставшуюся жизнь,

и христианская мораль не позволит ей бросить мужа в беде, — Виктор скорчил рожу, изображая калеку, сидящего в инвалидном кресле, и продолжил, кривляясь: — Господи, какая пошлость, — смиренно сложенные на груди пальцы с плохим маникюром, а в глазах вселенская печаль, и пьяный муж без задних ног валяется на диване в съёмной квартире, откуда его не сегодня-завтра турнут, потому что Виктор так и не убрал жилище, и блевотина блестит на дощатом полу. Фу! — поморщилась Зина. — Как не стыдно произносить такое! Если Виктор не перестанет, то точно придётся вызывать санитаров из дурки. Зина! — прервал он её. — Все разбежались, как крысы, как жить дальше? Но хуже всего то, что страх смерти сковывает движения, как в юности, когда бесшабашность разбавляла этот страх, что прокишее молоко дрянной кофе, и ты стоял посреди земли, потому что земля круглая и каждый может настаивать на том, что стоит посреди земли, но пьяницы и наркоманы знают об этом лучше других, так как знание подчинено алкалоидной системе восприятия, а вовсе не жажде познания, как, например, у Фалеса, не путать с Фаллосом, придумавшим теорию равнобедренного треугольника только потому, что был пьян, а мир сверкал над ним мириадами звёзд, и он впервые подчинил эту красоту истине, что прямая никогда не пересекается с самой собой. Зина затрясла головой и стала отмахиваться от его бреда, повторяя, какие у Виктора прекрасные дочь и внучка, лучше бы он занялся её воспитанием, но вконец пришла в ужас, когда тот произнёс негромко, что жалко убивать Мару, но всякая женщина, предавшая мужа, достойна смерти, и ему некуда деваться...

Проснувшись, ещё не вставая с постели, Виктор постарался вспомнить давешние мысли до мельчайших подробностей. Он словно примерял их к нынешнему утру — к небранной спальне со старомодным трюмо, заставленным духами и кремами, стёганым пуфиком. В десять часов утра Виктор включил компьютер и почистил браузер. Он вошёл в почту и удалил всю корреспонденцию. Затем удалил все файлы с рабочего стола и выключил компьютер. Виктор чувствовал себя вполне сносно, он знал, что это временное ощущение, что скоро подступит похмельная дурнота, появится звон в ушах и тяжесть во всём теле. На удивление, даже трясушки не было, предстоящий прыжок с моста вытеснил её из организма. Виктор хмыкнул, вспомнив, как однажды в молодости у него разнесло челюсть от флюса, и он решился удалить зуб, но, когда он приблизился к поликлинике, боль внезапно исчезла. Тогда он тоже хмыкнул, но всё-таки пошёл к стоматологу, и ему вырвали больной зуб.

Накануне Виктор убрал квартиру, помыл посуду и вынес мусор на помойку. Он делал всё основательно, тщательно протирал пыль тряпкой, до последнего ждал прихода Мары, даже когда стемнело и на улице зажглись фонари и город затих. Всё думал, что это игра, что всё под контролем и в любой момент можно остановиться. Однако чём дальше, тем больше убеждался: не игра, не перед кем ломать комедию. Виктор почистил зубы, прополоскал рот холодной водой, побрился тупой бритвой и попшикал лицо одеколоном «Балафр». Затем надел голубую рубашку с тёмно-синим вензелем на нагрудном кармане и пригладил волосы.

На Проспекте Мира было малоллюдно. По аллее гуляли мамыши с колясками, на скамейках сидели старики в бухарских шапках и степенно переговаривались. Периодически с грохотом проносился трамвай. Мы сидели за круглым пластиковым столиком в уличном кафе и пили чай с круассанами — я, Виктор и Мара.

Виктор мало изменился с тех пор, как мы вместе работали на телевидении, а прошло больше тридцати лет. Был по-прежнему сухощав, носил дорогие очки, русые волосы его поседел, но от этого внешне он стал более брутальным, в отличие от светлого молодого очкарика, имевшего прозвище Гений. На алкоголика он мало походил, хотя Мара постоянно жаловалась мне по телефону, что Виктор не просыхает, напивается с утра и весь день валяется на облёванном полу возле дивана. Мара постарела, это было видно не только по лицу, по зубам и по волосам, но и по походке. Она была кривоногой, но в молодости это придавало ей некий шарм, детскую непосредственность, что ли. Теперь ноги у неё вроде как подогнулись ещё больше, и хотя Мара молодилась изо всех сил, получалось плохо. По ней плакал визажист.

— Я поздно пришла к Богу, — сказала Мара, пожимая худыми плечами, и отхлебнула остывший чай. — Но я не жалею. Сейчас я счастлива.

Виктор крутил полупустую чашку на блюдечке, отчего белый фарфор издавал неприятный звук.

— Ты только послушай её, — несколько судорожно кивнул он в сторону Мары. Но глаз не поднял.

— Пожалуйста, оставь в покое чашку! — попросила Мара, а затем со смиренной улыбкой повернулась ко мне. — Да, я наконец-то обрела покой, теперь мне ничего не страшно — ни одиночество, ни бедность, ни болезни. На всё воля Божья.

— Ага! — усмехнулся Виктор. — Она счастлива! Бросила в грязной квартире подыхать с голоду мужа, ушла к полоумной сеструхе, и теперь она счастлива!

— Не трогай мою бедную сестру! — строго произнесла Мара. — Она больна, у неё расшатаны нервы, но мы каждый день молимся вместе. А по воскресеньям ездим к духовнику.

— Да она настоящая шизофреничка! — рявкнул Виктор. — Ты хоть знаешь, что твоя сестра болтает про тебя на каждом углу?

— Нет, и знать не хочу.

— Потому что ты такая же шизофреничка. У вас в роду все шизофреники.

— Прекрати, браток! — сказал я. — Возьми себя в руки. Ты же писатель.

— Какой он писатель! — брезгливо поморщилась Мара. — Последнее его сочинение — это «Грустные мысли», в котором он слезливо описывает канун самоубийства какого-то дохляка, наверное, чтобы поугаждать меня. Ах, все меня бросили, ах, какой я несчастный! Тьфу, противно читать! Если у него и был талант, то он его пропил.

— Неправда, — нехотя возразил Виктор, — я пишу по-прежнему, только таким шизофреничкам, как ты, нельзя читать мою прозу.

— Я не шизофреничка, — сказала Мара. — И сестра не шизофреничка, просто у нас расшатаны нервы. А то, что она наговорила про грузина, так это глупости.

— Глупости? — вспыхнул Виктор. — То, что ты катаешься с грузином на его колымаге, — это глупости? Куда ты с ним ездила?

— Ну... — замялась Мара, — он возил меня к заутрене.

Виктор засмеялся, показывая жёлтые зубы. Но смех его был усталым, как будто его зашекетали.

— Да ну! Скажи, родная, а по дороге он трогал твои коленки?

— Господи! — Мара выдвинула из-под стола свои тощие ноги и отёрнула юбку. — Гляди, Самсон, кого-то могут заинтересовать эти колени?

— Мало ли в мире психов! — сказал Виктор.

Николай Верёвочкин

Череп Гоголя

Рассказ

— Это вы интересуетесь черепом Гоголя? — спросил незнакомый голос.

— Туфель, ты? — насторожился я.

— Значит, так, — кашлянув, сказал голос, — я сижу в кафе «Виригин мост». Если интересуетесь, приходите.

— Зачем мне череп Гоголя?

— Странно, — помолчав, сказал голос в некотором замешательстве. — Как зачем? Что значит зачем? Череп Гоголя! Я о вас был лучшего мнения. Если вас не интересует череп Гоголя, что вас вообще интересует?

— Туфелькин? Не придуривайся, Туфелькин. Я знаю, это ты, — сказал я, сильно сомневаясь в своей догадке.

— Не знаю никакого Туфелькина. Что вы пристали ко мне со своим Туфелькиным? — рассердился голос.

— Я? Пристал к вам? — в свою очередь рассердился я.

Трубка фыркнула и замолчала. Потом откашлялась и спросила:

— Адиль Ергерович?

— Не совсем в этом уверен.

— Что за глупые розыгрыши, — попытался настроить меня на серьёзный лад продавец черепа Гоголя и, зашуршав бумагой, спросил:

— 7919592?

— Ошиблись, — сказал я с раздражением.

Люди, путающие телефонные номера, всегда вызывают во мне раздражение.

— Извините, — смутился голос и отключился.

Укрывшись за дисплеем, Ася ела яблоко. Отрежет ломтик, очистит его ножом от кожуры и долго жуёт. Я зову её Сыроежка. Не за склонность к сыроедению. Фамилия у неё Сыроежкина. Прочие в конторе величают её Дрозофилой, подчёркивая миниатюрность, а также живость характера. От неё пахнет осенним садом. На свежий взгляд она кажется мышкой. Но внешность обманчива. Не зря Эдуард Птаха зовет её Мухаммедом Али. Почему? Потому что порхает как бабочка, а жалит как пчела. Это одно из самых злых перьев нашей старушки — «Новостаровской правды».

Николай Верёвочкин — прозаик, лауреат Русской премии (2005), постоянный автор «ДН». Живёт в Алматы.

— С кожурой вкуснее, — сказал я.

— Угошайся, — подвинула она ко мне тарелку с кожурой и спросила с осуждением. — А почему тебя не интересует череп Гоголя?

— Думаешь, сумасшедший?

— Условный сигнал. Пароль.

— Значит, сумасшедший или шпион? По-моему, все шпионы вымерли. Интернет убил всех шпионов.

— Может быть, бандит. Наёмный убийца назначает встречу заказчику. Обговорить детали и условия. Ты никого не заказывал?

Ася отложила нож, подошла к раскрытому окну. Тотчас же из сумрака сосны показалась белка и, раскачиваясь на ветке, уставилась на Асю.

Ася встала на цыпочки. Юбочка приподнялась и натянулась.

Увидишь такое — жить хочется.

Створка окна медленно растворилась. В тёмном стекле косым креном поплыли лохматые лапы сосен. В сумраке весёлых дебрей показалось рыжее пятно белки, а следом — загромождённое компьютерами, шкафами, подшивками, комнатными цветами и настенными дипломами замкнутое пространство кабинета. Створка остановилась, словно пригвождённая моим рыжим ёжиком.

— Фёдор, ты опять разглядываешь мои нижние конечности. На твоём месте как честный человек я давно бы сделала мне предложение. Почему бы тебе не жениться на мне?

— У тебя большой недостаток. Ты умнее меня. Хотя можно и жениться. Но при одном условии. Я человек полувосточный и не потерплю жены, которая пишет лучше меня. Моя жена должна ходить за мной чуть сзади и немного сбоку, прикрывшись от нескромных взоров марлевой повязкой.

— Почему не паранджой?

— Слишком радикально. Я всё-таки наполовину человек европейский.

Мы вдвоём на «подводной лодке». Впрочем, наш кабинет, рассчитанный на восемь человек, зовут также загонем, конюшней, стойлом, лежбищем и птичьим базаром. Но чаще всего — подводной лодкой. Когда-то мы сидели в кабинетах по двое, но вернувшийся из Америки редактор повелел разобрать перегородки, а стены своего непроницаемого кабинета заменить на прозрачные, стеклянные. Очень удобно: слева как на ладони восемь творческих работников, справа — восемь технических. Но потом выяснилось, что через эти стеклянные стены не только он за нами бдит, но и мы за ним. И редактор повелел вновь сделать свой кабинет непроницаемым. А мы так и остались в общем стойле. Потому что перегородки, некогда разделяющие нас, не были несущими.

— А почему бы не допустить, что тебе звонил торговец черепами? — задумалась Сыроежка, протягивая белке ладонь с арахисом.

— Черепами Гоголя? — уточнил я.

— Кстати, кафе «Виригин мост» недалеко. Ты не хочешь пообедать?

— Знаю я это кафе. Салат — ползарплаты. Не хочу.

— И ты действительно не хочешь иметь череп Гоголя?

— Да как-то обходился до этого.

— Странно. Всё-таки череп Гоголя.

— И что с ним делать?

— Я бы из него сделала светильник и поставила на прикроватную тумбочку.

Проснёшься, включишь, а он изнутри светится тёплым золотом. Трещинки, зазубринки, шербинки. Представляешь? Лучи от глаз. Стоит на тумбочке, улыбается.

— Почему улыбается?

— Все черепа улыбаются. Что уж говорить о черепе Гоголя. Улыбается. Иронично так. Ты идёшь?

— Куда?

— На «Виригин мост». Тебя долго ждать?

— Ну, череп. Ну, светильник. А почему именно череп Гоголя? Другой череп тебя не устроит? — спросил я, украдкой раскрывая под столом кошелёк.

Сыроежка фыркнула:

— Фёдор, ты опять меня разочаровал. Череп Гоголя отличается от других черепов тем, что он принадлежал Гоголю.

Кафе «Виригин мост» — это множество беседок, расставленных под деревьями вдоль Весновки. Хорошо. Речка журчит, листва шелестит. За оградой греются на солнце бездомные собачки, на деревьях сидят одичавшие коты. И те и другие добывают пропитание попрошайничеством. Между беседками шипят, увлажняя воздух, фонтаны. Исторгают водяной туман.

У входа в кафе на горбатом мостике нас поджидал человек в длиннополом плаще с мужественным лицом рэкетира и причёской скрипача. Он порывисто бросился к нам. В руках его была зажата купюра.

— Вы не разменяете пять тысяч?

Я было полез в карман, но Ася едва не выдернула мне руку.

— Нет, — сухо бросила она незнакомцу и поволокла меня за собой.

— Чего ты? Человеку нужно разменять деньги, что тут такого? — прошептал я, когда мы отошли от смущённого резким отказом мужика.

— Лох ты, Фёдор, неисправимый. Обрати внимание, сколько здесь ларьков, кафешек, киосков, магазинчиков, а этот тип разменивает деньги у прохожих. Откуда ты знаешь, что он их не нарисовал?

— А почему ты думаешь, что я не умею рисовать деньги?

— Он должен сидеть где-то с краю, — сказала Сыроежка, обходя беседки, укрытые москитными сетками, отчего сидящие в них слегка напоминали приведения.

— Успокойся. Если звонил продавец черепов, шпион, киллер или мошенник, он давно сбежал. Представь себя на его месте. Я бы сбежал.

— Ничего не сбежал. Подумаешь, ошибся номером. Я бы перезвонила. Его легко найти. Мужчина. Один за столиком. Если к нему подойдёт другой мужчина — значит, это он.

— Ну, мужчины встречаются в кафе не только по поводу черепа Гоголя. Всё-таки это был Туфелькин. Ты знаешь, как он умеет подделывать голоса. И мужские, и женские. Ни за что не подумаешь, что Туфелькин. А это Туфелькин.

— Вот он, — скривив рот в мою сторону, сказала Сыроежка.

Старик сидел прямо, положив на стол руки, как академик Павлов на одноимённом полотне Михаила Нестерова.

Кожа на лице как у младенца. Борода молочная. И из этой белизны ярко, словно накрашенный, алел рот. Было в детских губах на старческом лице что-то порочное. Порочное и неприятное.

Чёрные очки как дыры в черепе.

Илья Наумов

Городской блюз

Фрагменты времени

Иногда по воскресеньям Василий ночью шёл кататься на третьем трамвае. Редкие гости города, не сумев отыскать карту Орска в приложении, обращались к местным и узнавали, что на третьем трамвае можно проехать по проспекту Ленина, а затем по Краматорской улице, а уже далее, мимо парка Строителей, прямо к Никелевому заводу, где водитель высаживал одинаково одетых и угрюмых рабочих, затягивал рельсы в петлю и пускался в обратный путь по симметричному маршруту.

А вот Василий, как и большинство коренных орчан, знал, что после двенадцати вагоновожатый переводит стрелки и везёт немногочисленных непутёвых на законечную остановку. На ней трамвай останавливается, водитель в одно мгновение рассеивается в звёздном небе, пугающе бесшумно расплываются двери, и пассажиры всякий раз несколько настороженно покидают вагон и оказываются посреди степи, монотонно затуманенной голубоватым лунным светом. Кто-то отправляется собирать ковыль, который можно будет заварить вместо подорожавшего эрл грея, кто-то вытаскивает из рюкзака фотоаппарат и замирает у нор в ожидании сурков или слепышей, чтобы сделать очередной снимок на последнюю страницу «Большой Орской газеты», кто-то просто расстилает неподалёку плед и начинает пересчитывать звёзды, отмечая каждое несоответствие стандартам в блокноте с логотипом «Метеорск».

Василий выходил из трамвая последним и останавливался прямо у путей, устремляя взгляд в сторону набухшей луны, готовой разбрызгаться на флегматичную уральскую степь. Василий боялся, что лунная каша окажется невкусной, а ещё больше он почему-то боялся, что двери трамвая захлопнутся и вагон без Василия покатится к следующей законечной станции.

Утром понедельника Василий просыпался, чтобы позавтракать яичкой и отправиться на завод.

Илья Наумов родился в городе Орске. Окончил филфак СПбГУ по направлению «Лингвистика. Испанский язык». Преподаёт испанский язык и литературное мастерство в ГБНОУ «Академия талантов». Рукопись романа «Атмосфера возможного счастья» вошла в лонг-лист премии «Национальный бестселлер 2020». Живёт в Санкт-Петербурге.

Первая публикация в «Дружбе народов».

* * *

Пока хлебокомбинат не закрылся, автохтонная буханка стоила четыре рубля с небольшим. Фёдора отправляли через дорогу в магазин «Удача», где он на двадцатку прикупал к свежеиспечённому кирпичу футбольный еженедельник с глянцевым постером и получал на сдачу ещё четыре рубля.

Зимой Фёдор не откусывал от буханки по пути домой, но пролистывал прессу, иногда увлекаясь и забывая на переходе покрутить головою по сторонам. Так его тогда и прижучили уже на домашней стороне улицы, зондирующего турнирную таблицу и победоносно очерившегося в честь непривычно высокой позиции московского «Спартака». Хулиганы были пожухлые, с семечками и хотели от него пять рублей, а когда Фёдор оформил отказ, один из них вынул такой вот нож, которым соскабливают масло на хлеб, и начал угрожающе бормотать.

Фёдор растерялся и заплакал, и даже просил, пожалуйста, его не убивать. Гопчики смутились, однако взяли себя в руки, и тот, который со свободными, прошерстил содержимое карманов и подтвердил, что четыре — это воистину не пять, да только что уж поделать — придётся довольствоваться малым. Журнал, всё ещё распахнутый на статистике, напарников не впечатлил, жевать хлеб вместо семечек они были тоже не намерены. Оруженосец почесал затылок свободной пятерней и предложил Фёдору драпать. У Фёдора была истерика: он бежал до подъезда, набирая в ботинки снега и спотыкаясь о всякую мерзость — поистрепались страницы, а потом ещё и мамини нервы, сразу же как он ввалился в прихожую сопливым сгустком.

Василий слушал сына, и чесал затылок пятернёй, и быстро ходил из стороны в сторону. Мать причитала. Василий грозил кулаком, потом показывал кулак Фёдору и размахивал им вперёд-назад — Фёдор всё ещё плакал, но теперь уже с какими-то новыми чувствами. Мать многозначительно поглядывала на отца. Василий молчал.

В это время у ларька «Бригантина» гопчики встретили Ивана Палыча, который за рубль помог им купить элексира на два рубля и курительной полыни на остальное.

* * *

Дело было где угодно, но только не на пустыре. Летом прозрачное небо тупо накрывало осоловевший ковыль, а зимой выпадал жирным слоем мышинового цвета снег, который сливался с мышинового цвета облаком — горизонт исчезал, а люди пропадали с пустыря, просачиваясь из Орска в какую-то отдельную, неведомую вселенную.

Иван Палыч работал здесь сторожем. Следил, чтобы ничего не произошло. Это было несложно, пускай и не без нюансов. Иногда люди хотели, чтобы что-нибудь такое случилось. Тогда Иван Палыч затягивался трубкой — а он всегда курил трубку и часто моргал одним глазом — и напоминал, что у них вон там тоже в своё время начали это самое, а потом такое стало происходить, что вообще. Шалуны понуро бурчали, но всё-таки соглашались. Беспредел нам сюда не нужен.

Раз в сорок лет на Орск проездом сваливался бедный командировочный, который останавливался в гостинице «Салют», а потом зачем-то выходил на пустырь, и стоял в его центре, и осматривал панораму до тех пор, пока Иван Палыч не вскрикивал и не приковыливал потихоньку к прокисшему чужеземцу. Потом он затягивался трубкой и спрашивал, с чего бы это вдруг надобно тут стоять, — спрашивал увесисто, но без быковства, однако проезжий внезапно потел, слушал, как стучит

сердце, а иногда даже трусил к выходу с пустыря, не понимая толком, что никакого выхода здесь нет.

Из незваных гостей Иван Палыч не провожал с территории исключительно саранчу. Во-первых, себе дороже вступать с ней в контры. Во-вторых, саранча только и делала, что умиряла пустырь, лишая его самых мизерных шансов на превращение во что-нибудь кроме. Наконец, саранче да, пожалуй, тому чувачку из «Салюта» одним неведомо, что зимой тут земля уходит из-под ног без метафор и прочего балагурства. Зимой пустота приближается к абсолюту. Есть только она и Иван Палыч.

* * *

Были какие-то выходные, и Фёдор ходил с родителями в «Юбилейный». Спорткомплекс напоминал городской рынок — лет до семи Фёдор не предполагал, что в центре здания есть каток, на который с сентября по февраль выкатываются мужики, ближе всех подобравшиеся к тому, чтобы ускользнуть. Зато Фёдор знал про отделы и даже бродил по собственному маршруту, если ему не надо было примерить джинсы, или там куртку, или ботинки на осень, а то старые все дырявые уже совсем. Не стоило играть в них на физкультуре во время освобождения.

Но это было там, а не здесь; в «Юбилейном» Фёдору нравилось смотреть диски и журналы, а ещё спускаться под лестницу, где находился маленький отдел всего пошарпанного: в детстве он глазел на прилавки с пластинками и жёлто-серыми вырезками из газет, школьником проводил подушечками по корешкам аудиокассет, чуть позже рылся в картриджах для «Денди», а ещё засовывал руку в бассейн рябых кепсов и пролистывал наборы наклеек с любимыми персонажами. За хорошее поведение Фёдору покупали что-нибудь в этом духе, а за плохое не покупали, но если он раскаивался и содрогался от осознания, то его могли тоже успокоить небольшим приятным сюрпризом.

Естественно, Фёдор часто мечтал работать в этом отделе, а ещё чаще — раздобыть много денег и купить себе всё, чтобы не слишком уж мучиться с выбором. Иногда такое случалось: он всё ходил с набухшими зрачками, и думал, и сомневался, пока Василий переминался на входе, стесняясь продавщицы и опаздывая домой на прямую трансляцию. Фёдор однозначно что-то искал, но никак не мог догадаться, что именно, а всякие окружающие объекты, хоть и притягивали к себе, всё же не могли со стопроцентной гарантией оказаться настоящей мечтой. Фёдор иногда не выдерживал — всегда раньше Василия — и говорил: «Ладно, потом ещё посмотрим», — после чего бежал, прятался скорей снаружи, чтобы не плакать и не вздыхать. Отец ненадолго задерживался в отделе.

* * *

Летом прилетала саранча. Это как пауки в запретном лесу, только саранча в общедоступной степи. Кстати, одна саранча — это ерунда. Другое дело тысячи саранчей.

Путру люди выходили из домов, чувствовали, как первое насекомое пристраивается куда-нибудь на плечо, разворачивались, забивались в подъезд и некоторое время думали, что на работу сегодня получится не приходить. Но это разве что с непривычки: город притих, обмозговал положение и постановил, что придётся быть, как были, но пока что немножечко с саранчой. Власти предпримут меры, а там уже поглядим.

Эгвина Фет

Квадратным слогом посредине лета

* * *

свет чах, свет чах
и опадал в траву
на бледный перепуганный участок

и там сидел,
как призрак, безучастно —
пережевать пытаюсь пустоту,
твердеющую каменным пространством.

будь он влюблён,
спасаясь чем-нибудь,
уехал на трамвае б с остальными,

где света электрического вымя
болтается под тяжестью себя,

где в помутневшее окошко почтальон,
увидев кондуктрису машу,
конвертом ей приветственно помашет,
как видно, будучи в неё давно влюблён.
и маша почтальону тоже машет.

всё дальше-дальше.
дальше — ничего.

ей ясно, что
жизнь в промежутках сна —
весёлый почтальон с пустым конвертом.
что было в нём заложено письмо,
а может, не было —
никто не знает это.

в истоке дня
мир наливался светом,
как бабочки, в соцветиях пасясь,
овальная туманность андромеды
им ни за чем по сути не сдалась.

Эгвина Фет (псевдоним; настоящее имя — Марина Григорьева) — поэт, редактор, издатель. Родилась в 1984 году в Ставрополе. Окончила пединститут Пятигорского государственного лингвистического университета, кандидат политических наук. Редактор литературного журнала «Балкон» (с 2017 г.). Автор книги стихов «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2018). Живёт в Ставрополе.

* * *

души моей все звери
у кого,
глубоко отпечатались на снеге —
на нём они оставили его,
чтоб удалиться в приглушённом беге.
пойдёшь искать —
мир праздничен и клёв —
труды окончив, бог глядел в окошко,
приучивал зверей и гладил кошку,
их рёв ревел, а лапы рыли ров —
мы здесь, и ночь
нам прыгала на плечи.
седьмого дня он нас очеловечил.
луна от страха поджимала хвост —
обрубок серповидного початка —
сквозь облака, идущие внахлёст.
где ты бы, ты бы, ты бы ни была —
зверей моих оставленных душа,
и что бы там не виделось снаружи,
мы в сад вошли, где яблони и груши
краснели в первобытности стыда.

* * *

конечно, эта область из таких,
где мы не сведущи, —
я трогаю твой стих
квадратным слогом
посредине лета,
где одуванчик светится
без света,
в последний раз
рассматривая жизнь.

конечно, я без памяти в тебя —
быть может, это солнце
из огня
нас выбивает нехотя из строя.
и воздуха развеянного страх
ложится вдоль,
опережая горе.

* * *

почему часто сны так скучны в пересказе — вчера
умерщвлённая мысль повстречать тебя где-то случайно
будит редкой снежинкой, скользнувшей за ворот, шнура
кто-то резко потянет стальную оснастку, и разве
лязгнет в синем ковше, расписавшем на небе тела
и астральные знаки, споткнувшись о лунные лазы.
человек на луне, на луне у него есть дела,
и луна наблюдает за ним немигающим глазом.
европеец с болонкой, как с грелкой под мышкой, застыл
у воды, потому что он сам из воды, как ни странно.
машет женщина красным платком из большой темноты,
белый катер уносит её в постсоветские страны.
ночь ползёт по стеклу, и тигровое тело рычит:
настоящее прошлое нами едва завладеет.
оставляю тебя в недосмотренном сне, позвучи
Agnus Dei и чем-то ещё амадея.

Александр Шевченко

Рассказы

Суррогатный отец

Я направил в издательство сборник рассказов. Потом звонил, напоминал о себе, но всё как-то мимо. Через пару месяцев, когда я уже почти об этом забыл, звонит мне мадам, поевшая, видно, собак в книгоиздательстве, и говорит:

— У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая... ну так, нормальная.

Хорошая: книжку вашу мы опубликуем.

— Ух ты! Спасибо! — отвечаю я и мысленно уже напиваюсь.

— А теперь нормальная новость: вы знаете такого писателя — Иван Clash?

Известный такой молодой автор.

— Ну конечно! Модный. И продаётся хорошо.

— Вот-вот. Продаётся. Поэтому мы ваш сборник выпускаем под его именем.

— В смысле? А я что... А он?..

— Не переживайте, с Иваном всё уже согласовали. Он прочитал сборник, всё одобрил...

— Да что вы?

— ...Сказал, что он бы многое написал иначе, но и так тоже подойдёт.

— Ну, спасибо, конечно, но...

— А что? По-моему, лестно.

— Погодите. А как вы себе это видите? Вы печатаете сборник, все зачитываются этим Клэщём, а я, как городской сумасшедший, говорю всем: «Это я на самом деле написал! Я!»

— Послушайте, Максим.

— Денис.

— Ну, Денис. Вы же молодой автор, вам не гонора надо набираться, а опыта.

— А как же авторские права?

— По договору вы передаёте все права издательству, мы вам гонорар платим.

Тридцать тысяч, между прочим.

— Нет, но автор-то я. Я должен быть на обложке.

Александр Шевченко родился в 1989 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова. Работает корпоративным юристом в одном из крупнейших международных ритейлеров. Печатался в журналах Homo Legens и «День и Ночь».

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Денис, с вами на обложке мы ни одной книги не продадим!

— Нет, я против. Извините.

— Ну и вы меня извините, но Иван уже изъявил желание быть автором сборника.

— Вот пускай и напишет себе свой сборник, он же писатель. А права я вам не отдам, и если вы опубликуете сборник, я пойду в суд.

— Нет, не пойдёте. Вы уже передали нам права. Мы вам почтой направили договор, там всё написано. И деньги, кстати, тоже отправили.

Что характерно, в эту же секунду у меня тренькнул телефон. Пришло тридцать тысяч. Проверил электронную почту. Никаких договоров.

— Деньги действительно пришли, а вот договора на почте нет.

— А по-вашему, такие вещи отправляют по электронке? Мы официальной направили.

— И сколько она ко мне идти будет? Полгода?

— Зато не потеряется.

— Тоже не факт. Я его не подпишу.

— По условиям договора, если вы приняли оплату, значит, вы со всем согласны, то есть и права передали.

— Я не приму оплату.

— Уже приняли.

— Верну.

— Возвращайте.

— Хорошо. Скажите реквизиты.

— Что-то не могу их найти. Давайте я, как найду, скину вам их по почте.

— По электронной?

— Денис, конечно же, нет. Такие вещи по электронной почте не отправляют. Ну, всего вам доброго. Поздравляю!

На меня как будто голубь нагадил. Я вроде как должен радоваться, но на голову-то, извините, наделано.

Этот разговор меня обескуражил, а потом разъярил, а ярость побудила к активным действиям. Я решил готовиться к суду и распечатать всю переписку с издательством. Она, правда, состояла из одного письма. Это было моё письмо, в котором я прошу их почитать мой сборник и найти возможность его опубликовать. Вот они и нашли.

Затем я искал способы вернуть эти проклятые тридцать сребреников, но даже когда откопал какие-то реквизиты, деньги вернулись ко мне обратно. Это был единственный раз в моей жизни, когда я увидел, что пришли деньги и выругался.

Я поехал в издательство и пытался вернуть деньги им через канцелярию, но понял, что принять их, может быть, и примут, но доказать свой возврат я потом не смогу. Уж больно ушлая тётка сидела в канцелярии.

Я написал в соцсетях самому Клэшу, но тот был уже за облаками и воплей моих не услышал.

Через месяц я получил по почте договор, который был составлен по методике написания смертных приговоров. Он гласил, что пока гонорар у меня, все мои попытки бороться будут выглядеть как недобросовестность, мошенничество и вообще подлость. Этими деньгами меня пригвоздили к обязательству молчать об истинном происхождении моих рассказов, как о еврейской крови в жилах штурмбанфюрера СС. Уверенными шагами я двигался к унынию. Когда же я увидел в книжном магазине

сборник своих рассказов, на обложке которого красовался Иван Clash, я понял, что мой путь пройден. Уныние достигнуто.

Я чувствовал себя как мать, у которой цыганка украла ребёнка и воспитала как барона. Или, наоборот, как будто я суррогатная мать (или отец), а мой ребёнок теперь — сын богатых родителей и живёт в тепле, ласке и носит бархат. Бродя от книжного к книжному и слушая восторженные отзывы о новом сборнике Клэша («Ищите что почитать? Вы читали новый сборник Клэша? Почитайте, он классный!»), я стал задумываться о причинах своей грусти. В чём истинная цель автора? Получить признание или донести свои мысли массам, и не важно, чьими устами.

Даже мои друзья не верили, что рассказы на самом деле написал я. Папа не верил совсем, мама не верила чуть-чуть. Признавали какое-то сходство стилей, но это же ни о чём не говорит. За мной оставили право на вполне достойное подражание гению этого Клэша.

— И потом, — утешала мама, — что для тебя важнее как для писателя: собственное признание или признание твоих идей?

— Смеёшься? Конечно, собственное!

— Вот он! — прокомментировал папа. — Совесть нации!

А потом мой сборник номинировали на премию «История года». Это престижная премия, за которую борются авторы крупной и малой прозы. Иван Clash, хоть и довольно именитый автор, ещё не удостоивался такой премии, поэтому собирал уже несколько урожаев с моего сборника. Я возненавидел его.

И вдруг телефонный звонок:

— Это вы его довели?! — говорит знакомый когда-то голос.

— Кого? Кто это?

— Это из издательства. Мы с вами общались про публикацию. Звоню по поводу Клэша. Своим шантажом вы довели его до ручки. Он отказывается идти на вручение премии. Он в депрессии, ему стыдно, как мы поступили с вами. А ведь это вам должно быть стыдно! Ведь вам заплатили нешуточные деньги, — напирала издательша.

— Кто ж станет шутить над такими деньгами? Никому и в голову не придёт.

— Чего вам ещё-то надо?

— Я вам уже говорил. Но это не я его шантажировал. А то, что он убивается сейчас, так я только рад, пускай. И вообще будь он проклят. Я уже месяц сплю на зарёванной подушке.

— Так. Собирайтесь и приезжайте в издательство, оттуда вместе поедем к Ивану. Адрес издательства вы знаете: околачивали у нас пороги.

— Я туда больше не поеду.

— Не капризничайте, Максим!

— Денис.

— Да какая разница! — уже буквально крикнула издательша.

— Если я вам нужен, пришлите за мной машину.

— Вам не кажется, что это уже перебор?

— Не кажется. Ну, или пускай там ваш Клещ повесится, пока вы деньги экономите. Под чьим вы тогда именем будете публиковать неизвестных гениев?

— Хорошо, адрес!

— Я пришлю вам его почтой. Голубиной.

Издательша-издевательша заехала за мной на такси эконом-класса, открыла заднюю дверь и гаркнула оттуда, чтобы я садился. Я сел, и мы поехали утешать безутешного гения.

— Так, сейчас войдём, скажете ему, что вы очень рады за наш общий успех. Общий, ясно?

— Слушайте, я хоть и поехал с вами, признаться, уже перестал понимать, зачем вообще мне это надо, — ответил я.

— Вы что, денег, что ль, хотите?

— Нет, признания. И только потом денег.

Мы позвонили в дверь. Clash был пьян. Издательшу он узнал, а про меня сказал:

— А это кто?

— Тот, кому ты обязан своей славой! — выпалил я. Да, я репетировал эту словесную пощёчину, но она как-то съехала.

— А, ты... Пойми, у меня к тебе претензий нет.

— Слава тебе, Господи, — ответил я и поклонился.

— А вот вы... — сказал Clash, грозно глянув на издательшу. — Это вы выдумали всю эту схему! А расхлёбывать мне.

— Как-то не поворачивается ничего вас жалеть, — сказал я.

— Так, молодые люди, давайте будем благоразумны, — начала издательша. — Я представляю коммерческую организацию, её цель — зарабатывание денег. Я отвечаю за то, чтобы это происходило самым эффективным образом. И вот эти ваши нюни, что одного, что второго, мне, честно говоря, не интересны, потому что ни то, ни то не приносит никакой выгоды. Это понятно?

— Всё, я сваливаю, — я повернулся и пошёл прочь.

— А ну стоять! — рявкнула издательша.

— Я сделаю признание! — сказал Clash, достал телефон и открыл соцсети.

— Щас! — издательша вырвала у него телефон, как это обычно делает коршун с ягнёнком из стада.

— Но мне неловко! — вскрикнул Clash.

— Объясняю, почему не надо этого делать. Если ты, дорогой Ваня, сделаешь такое признание, тебе либо не поверят, либо поверят, но не поймут, зачем вообще тогда всё это было, лишат премии, осрамят, и ты потеряешь часть аудитории, это к бабке не ходи.

— Попадос, — прокомментировал я.

— А вам, Денис, почему не стоит дальше усердствовать с вашим шантажом... — издательша повернулась ко мне.

— Да я не шантажировал его. Иван, подтверди!

— Подтверждаю, — всхлипнул он. — Это я сам себя накрутил.

— Как бы там ни было, Денис, даже если вы защитите своё доброе, но никому не известное имя, то вас запомнят как бывшего литературного афроамериканца, который решил сбросить цепи и оскандалился в попытках прославиться. Так что это будет ваш последний сборник. Не вариант, согласитесь. Не будьте смешны в наивном желании написать своё имя на книжке. Пишите дальше, и всё у вас будет.

Похоже, что ведьма была права. Мы с Клэшем переглянулись. Ему-то было легко строить из себя жертву. А что оставалось мне? Моя роль, как я её понимал, состояла в том, что я — совесть этого Клеща, пока нахожусь в комнате. И как только я уйду, издательша так его обработает, что он забудет об угрызениях совести как о классе. Когда на этой очной ставке она узнала, что я никак и ничем его не шантажировал,

Сергей Маркелов

Разные виды снега

Рассказ

Он затаился, выдохнул, затаился ещё, посмотрел в заиндевевшее окно, по которому набухшими венами растеклась вода. Потрепал распустившийся бутон рукава, запутал торчащие зелёные нитки, расковырял вязаную рану. По помещению стелился дым, шумела в кране вода, под потолком гудели влажные, словно скрученное мокрое полотенце, трубы. На окнах не было ручек.

Он пошевелил языком, достал из-за щеки растворившиеся почти таблетки, сплюнул белую кашицу в раковину. Стряхнул следом пепел. Загнал всё пальцами в слив.

- Тоже выплёвываешь?
- Да плохо уже. Вялый становлюсь.
- Дашь ещё?
- Держи. У меня есть. Я ж припрятал.

Он взял из протянутой пачки, прикурил заострившимся угольком сигарету, затаился быстро-быстро.

- Оставишь мне после выписки, если что?
- Конечно, не жалко. Я тот раз лежал, мать мне два прислала, блока, так у меня ещё... Тут раньше другая на посту была, мы толпой курили, а потом одна тут ночью зашла, покурила. Они что думают, что не будет, а запах же есть, и закрывать стали... Ты чё?

- Не слышу.
- Ты кран-то... выключи.
- Не, показалось. Так это армянские, что ли?
- Осталась пачка, да. Я дома как с армейки ушёл, товарищ у меня возил их, я продавал. Есть и армянские, и арабские, и наши. Потом кроссовками занялся. Если что, кстати, нужны будут, ты пиши потом, телефон запиши. Ваня там...
- Помню. Ну что, по третьей?
- Не, пойдём. А то прибежит, отберёт шас.

Сергей Маркелов — журналист. Родился в Мурманске, окончил филфак Петрозаводского государственного университета. Участник форумов молодых писателей 2013 и 2014 годов. Живёт в Карелии.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 8.

Они сунули сигареты под струю воды, выкинули хабарики в ведро с надписью: «Отходы № 6». Вышли в коридор. Люди там слонялись, словно подпирали плечами жизнь, лица у них были как слякоть. Одни трясли руками, другие — головой, третьи, сидя в кровати, не вставали и тряслись. За стеклом, кутаясь в вязаную жилетку, сидела медсестра. Квадратные очки в оправе цвета высохшей десны висели у неё на кончике носа, как прицел. Она то целилась через него в журнал, вывода в нём дежурные слова: «...На контакт идёт неохотно, агрессивное поведение не проявляется, признаков эмоциональной лабильности не замечено...» — то смотрела поверх, на больных. Из-под журнала торчал угол сканворда с заполненным словом: *окани*. По телевизору шла «Адская кухня». Облокотился на подоконник и глядел в окно человек, заросший бородой и волосами, с желтоватой шелушащейся кожей. Глаза его впали, покраснели, щёки тоже, он был осунувшийся и похудевший.

— Давно он тут?

— Месяц уже.

— Не говорит?

— Сам с собой только. Сидит, смотрит в окно. Весь день. Спорит вот сейчас с горшком цветочным.

— И чё у него?

— Хэ-зэ, шиза...

— Да тревожное у него, — влезла в разговор слушающая вполуха санитарка.

— Такое, прям, — он поёжился. — Я вот, знаешь, наверное, выйду и пить брошу.

— Почему?

— Да что-то неохота опять, голоса эти...

— Правильно, Вань, — поддержала санитарка. — Алкоголь, он же ещё никого до добра... Михална, у тебя ключ?! Эх.

— Пошли накрывать, — на ходу бросила Михайловна.

Они зашли в палату: широкое вытянутое помещение с кроватями и тумбочками вдоль стен, кровати заправлены уютными шерстяными пледами. Минут через десять вошёл человек с вечно испуганным лицом и пустыми глазами, вздохнул, остановился в центре.

— Чего встал?

Он не ответил. По коридору загремели металлические колёса тележки, зазвенели миски и ложки. В палату заглянула санитарка:

— Обед!

Человек вздрогнул, испуганно оглянулся, сказал в пустоту:

— Подожди, — потом прошептал: — Откройте форточку, пожалуйста...

— Чё?!

— Форточку... в палате душно.

— Ты громче-то говори, парень!

— Он говорит: форточку откройте.

— Ага, щас тебе. Идите вон, наливайте компот.

Они пошли за компотом, человек взял кружку и зашаркал следом, продолжая говорить с кем-то:

— Как же... *Берег. Снежная каша. Гладил рыжие волосы, паутиной тянул на лицо. Снег мокрый. Берег, снежная каша. Тепло и сыро на губах и в карманах.*

— *Бла-бла-бла. Почему ты отпустил меня? Почему?*

— *Ты — почему?*

— *Уехала? Я тоже думала: почему? На вокзале я волновалась, думала о тебе.*

Там пол такой, чёрно-белый, как в морге, ха-ха. И я загадала, что если через две плитки перепрыгну и до чёрной не дотронусь, то останусь. Прыгнула — мыском задела чёрную. И успокоилась.

— Дура ты деревянная.

— А ты — свинья! Любимая моя свинья. Пёс мой ласковый.

— Пёс твой...

* * *

Стояли крепкие крещенские морозы. Мы хорошо накачались коньяком. Домой я шёл вдоль дороги, тогда ещё не отремонтированной, впервые в жизни земля уходила из-под ног. Рядом завыл тормозами и закричал в громкоговоритель полицейский уазик: «Оп-па на, он же на ногах не стоит!» — они выпрыгнули из машины, подхватили меня, усадили на заднее сиденье, повезли. По дороге я стрельнул сигарету — те вежливо угостили, и я, представляешь, нагло закурил в машине: это ж конец нулевых был.

Меня привезли в изолятор временного содержания, а оттуда повезли в «обезьянник». Посадили в узкую продолговатую камеру со скамейкой во всю длину и парнем на ней. Я стрельнул у него сигарету. «Последняя», — прищурился он и оставил покурить.

Напротив камера просторнее, там сидели двое: буйный алкаш полночи грозился написать в газету об ужасном отношении и нарушении его прав, просился в туалет, нассал в камере; второй тупо спал на скамейке. В ещё одну стену были вмонтированы две массивные металлические двери.

Сокамерника моего привезли за какую-то хулиганку. Время от времени заглядывал дежурный, орал на алкаша из соседней камеры, откуда-то доносились пьяные крики. Спать там было неудобно. Мы сидели вполоборота, облокотившись на стену, свесив ноги с узкой зелёной скамейки. Потом привезли парня с девушкой. Нас, парней, переселили в обоссанную камеру. Девушку — в нашу, чистую. Алкаша... Не помню уже, куда.

— Короче...

— Утомил?

— Да.

— Ты знаешь, что это такое?

— Обезьянник? Как-то бог миловал.

Там время тянется бесконечно. «Обезьянник» — это небо над головой, которого не видно; это часы, которые у тебя отобрали; это телефон, по которому ты не можешь позвонить; это сигареты, которые лежат в метре от тебя, но ты не можешь до них дотянуться; это жизнь, которую у тебя отняли и над которой ты больше не властен; это, в конце концов, малюсенькое окошко под потолком, в которое падает дневной свет, — и только так ты понимаешь: наступило утро, сменился дежурный, открылась железная дверь, из неё вышел довольный мужик, а тебя забирает на дознание опер, но ты думаешь, что он ангел, что сейчас, наконец, он дарует тебе долгожданную свободу, пожмёт руку и скажет: «Иди, сынок».

Он сажает тебя в машину, везёт по зимнему светлому городу в буханке, освещённой лучами солнца, которое ярко светит в заиндевшие окна, ты шуришься, улыбаешься оперу, улыбаешься солнцу, улыбаешься водителю, улыбаешься этому миру и теплу, опер привозит тебя в отделение, сажает за стол и спрашивает: «Ты пёрднул?»

Михаил Москалёв

Падение гласных

Рассказ

Не помню точно, с чего начался наш разлад. Кажется, с молока. Или с чего-то подобного. С волокна, может быть, или с долота. Хотя вряд ли мы с ней когда-либо говорили про волокно или долото. В общем, какое-то «о-о-о» всплыло однажды в нашем ничем не примечательном будничном вечернем разговоре. Я ли спросил, а она ответила. Сама ли она завела речь — не помню. Но когда она произнесла эти три «о», разделённые позабытыми мною согласными, я вдруг обратил внимание на то, как она это сделала. Округлив губы, отчётливо, не смазывая ни одного звука и очень энергично. Я даже замешкался с ответом, хотя ничего сложного от меня не требовалось. Тогда меня удивило, что в языке, на котором мы с ней разговариваем без малого десять лет нашей совместной жизни, есть слова с тремя «о». Последний раз я обращал на это внимание в школе, но лишь из-за того, что на кону стояла моя оценка в годовом диктante, а от оценки зависела покупка мне велосипеда, а от велосипеда — мой статус в дворовой компании и ещё много чего. И судя по тому, что, по крайней мере, велосипед мне не купили, написал я эти три «о» неправильно, чувствуя, что никаких слов с тремя «о» в языке, которому меня с переменным успехом обучали в школе, быть на самом деле не может.

В следующий раз что-то странное случилось со словом «град». Мы потащились на машине за грибами в соседнюю область, оббегали пол-леса, ничего не набрали и к полудню решили, что пора рвать когти и что либо грибники из нас так себе, либо грибы в этом году дрянь. Обрато мы ехали молча, только на заднем сиденье изредка громыхали вставленные друг в друга пластиковые вёдра, напоминая о своей пустоте и нашей неудаче.

Вскоре палившее с самого утра солнце заволкло тучами, стало приятно прохладно, на асфальте начали появляться тёмные точки от капель дождя, редко, а потом всё чаще и чаще, пока видневшаяся за лобовым стеклом дорога из пыльно-серой не сделалась почти чёрного цвета. Я сбавил скорость. По кузову что-то очень сильно

Москалёв Михаил Владимирович родился в 1982 году в г. Осташкове. Окончил филологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова. Работает переводчиком. Участник семинара Союза писателей Москвы (2017). Печатался в журналах «Новая Юность», «Крещатик». Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

забарабанило, и она сказала как бы в утешение нам обоим, но обращаясь то ли к себе самой, то ли к дворникам, елозившим по лобовому стеклу, что мы вовремя смылись из леса и что чёрт с ними, с этими грибами, и вообще, самое главное, что мы не попали под град. И последний звук в самом последнем слове она произнесла чётко, не оглушая его как положено. А потом ещё добавила, что хочет поскорее попасть в город. И тоже со звонкой «д», как будто так и нужно.

И если первый инцидент я предпочёл не заметить, списав странности в её произношении на вечернюю усталость, то в этот раз не сдержался и по-клоунски повторил фразу про град и город. С «д» и «д» соответственно. Никакой ответной реакции с её стороны не последовало. Едва я закончил паясничать, она как ни в чём не бывало включила радио и стала вертеть ручку частот в поисках прогноза погоды, словно это могло каким-то образом ускорить окончание дождя.

После этого второго случая изменения в её речи стали систематическими и необратимыми. Так, она полностью перешла на оканье. И это в столице, в самом эпицентре того диалекта, который просто напалмом выжиг любой намёк на безударную «о» в радиусе на несколько сот километров вокруг. Она же — нет, чётко выговаривала все «о», какие ей только встречались, и чувствовала себя в своей тарелке. Хотя, раз уж ей захотелось вернуться к истокам (а я почему-то сразу подумал про истоки), нужно было начать гекать и цокать, потому что приехала она именно из тех мест, где без этого не обходится ни один разговор. Окать же скорее пристало мне, но следовать примеру своей многочисленной северной родни я не хотел и продолжал во всех безударных слогах произносить предательское по отношению к моей малой родине столичное «а» и «и».

Но оканье — ладно. Его ещё можно было как-то, пусть нелепо, объяснить — влиянием той же родни, регулярно инспектировавшей нашу совместную жизнь в столице, или, скажем, близостью офиса, в котором она работала, к северной границе города — мне в тех краях бывать не доводилось, но кто знает, может, там сохранился анклав дремучего нордического оканья, а она возьми да и понахватайся его в обеденный перерыв у кассирш из местных столовок.

Но никакого, даже неразумного, объяснения для звонких конечных согласных не было. На севере, как, впрочем, и на юге, так не говорили. Так что ни родня, ни гипотетический говор, чудом уцелевший в бывших промзонах, были тут ни при чём. Зато эта конечная звонкость была в порядке вещей в других языках, ни один из которых ни я, ни она в школе так и не выучили.

Получалось, что усвоенное ею произношение вовсе не было диалектальным, а представляло собой самую настоящую химеру. Только вот зачем ей понадобилось создавать такого фонетического монстра, я понять не мог и, проделав ещё несколько раз фокус с передразниванием её речи, на который она, как и тогда, по дороге из леса, не обратила никакого внимания, решил припереть её к стенке прямым вопросом.

— Ты про что? — спросила она с удивлением.

Я повторил свой вопрос в полной уверенности, что она его поняла, но зачем-то притворяется.

— Звонкие? Оканье? — она медленно произнесла пару слов, среди которых было и злосчастное «молоко», и «город» с «градом». Только не окая, а преувеличенно акая и оглушая конечные согласные почти до шипения. Произнесла и рассмеялась. В общем, обратила всё в шутку или просто не поверила.

Как ни старался я убедить её в том, что с её речью что-то происходит, она лишь отшучивалась, придумывая самые невообразимые диалектизмы со словами: «А так

я не говорю?» В конце концов, ей надоело, и мы, замолчав, разошлись по разным комнатам. Я — с удивлением, не понимая, почему она не хочет признать очевидный факт, она — не знаю с какими мыслями, возможно, уверенная, что я всего лишь хотел разыграть её и, может быть, несколько озадаченная тем, что мне так долго удавалось сохранять серьёзный и настойчивый тон: актёрствовать я толком не умел, и все попытки разыграть кого-нибудь обычно проваливались почти сразу, как только у меня на лице помимо моей воли появлялась глупая улыбка.

Особой молчаливостью она никогда не отличалась. Её речь была шумной, многословной и по длительности уступала разве что пленарным докладам Кастро в его лучшие годы. Она знала об этом, но сдерживать себя не могла. Так что слушать приходилось больше мне, но я, как, наверно, какой-нибудь старый соратник команданте, приспособился и без ущерба для политического единства в нашей маленькой партии умудрялся во время её пламенных спичей думать о своём, листать журнал, а то и смотреть краем глаза телевизор. Впрочем, даже если какая-то часть из её выступлений, скажем, о планах на ближайшие выходные или о предстоящем ремонте квартиры, оставалась за пределами моего сознания, она не обижалась. И этой замечательной чертой своего характера, как мне кажется, выгодно отличалась от лидера острова свободы.

Но теперь, с нововведениями в её речи, мои навыки старого соратника начали давать сбой. От того, что она говорила, я ещё мог отвлечься, но от того, как она это делала, отвлечься было гораздо сложнее. Её гласные и конечные звонкие прямо-таки разрушали привычку, на выработку которой было затрачено столько лет. Едва я начинал присматриваться к изображению в телевизоре или думать о ерунде, не связанной с темой её внепланового (а других у неё не бывало) выступления, как какая-нибудь «о» или какое-нибудь «д» выдёргивали меня из рассеянного блуждания по экрану или по странице текста. К чему вообще нужно было говорить всё, что она говорила, спрашивал я иногда её, но пока только в мыслях, прилагая усилия, чтобы моё раздражение никак не дало о себе знать. А ведь раньше такого никогда не было. Я не то что через силу переносил её треп. Нет. Он был мне приятен. Даже если я пропускал половину мимо ушей. А теперь стало регулярно всплывать это «к чему?», которое, с тревогой понимал я, касалось не только её речи, но чего-то более глубоководного между нами, о чём не хотелось даже догадываться.

Но, в конце концов, другие должны были что-то заметить? — осенило меня однажды. — Другие? С работы и пятничных вечеринок? Из магазинов и баров? Из квартиры напротив? Из квартиры сверху? Из квартиры снизу? Другие — с образцовым выговором и идеальным интонационным рисунком речи, готовые растерзать за малейшую языковую и не только оплошность. Другие — чьими усмешками выслан ад, а косыми взглядами дорога к нему, — они-то должны были рано или поздно что-то заметить и как-то отреагировать?

Но нет, ничего подобного не происходило. Когда мы бывали в гостях, она много и охотно говорила, прибавив к оканью и звонкости конечных согласных ещё парочку новшеств (например, заменив все «ы», в которых, признаюсь, и мне постоянно чудилось что-то людоедское, на «и»), и никто, совершенно никто не обращал на это внимания. Её искажённая речь и равнодушие к этому окружающих приводили меня в ступор. Все смеялись в тех местах, где нужно было смеяться, позёвывали, когда она принималась занудствовать, или перебивали там, где не перебить было невозможно. Словно ничего с её произношением не случилось. Если кто и выглядел из нас двоих дико, так это, пожалуй, я со своим маниакальным взглядом, вечно прикованным

к слушающим её людям. Меня всё не оставляла надежда на то, что вот сейчас на чьём-нибудь лице появится кривая ухмылочка в совершенно неподходящем для ухмылки месте или кто-нибудь вдруг от удивления поднимет бровь или, на худой конец, неожиданно внимательно прислушается к тому, как она говорит, и ответит невпопад, как это теперь часто происходило со мной. Но никакого намёка на смущение, никакого желания поправить её произношение ни у кого, кроме меня, не возникало.

Я был единственным, кто замечал все эскапады её речи, и это моё одиночество озадачивало меня даже больше, чем сами эскапады. Странно было слышать то, что не слышали другие, странно было видеть безмятежность на лицах людей, обычно возбуждавшихся и терявших терпение в гораздо менее скандальных ситуациях.

С каждым днём я понимал её всё хуже и хуже. Она продолжала не верить в изменения своей речи. Её речь продолжала меняться. Однажды мы договорились встретиться после работы в кафе возле станции метро. Она произнесла название кафе и время нашей встречи. Я кивнул, и мы разъехались по работам. Однако вечером ни её, ни кафе, о котором она говорила с утра, на месте не оказалось. Я едва нашёл станцию метро, на которой, судя по её утренним словам, должна была состояться наша встреча. Хотя не уверен, что даже станция была правильной. Побродив немного по району, который, как многие места в столице, представлял собой арену для соревнования сразу нескольких строительных бригад, работавших каждая в своём уникальном стиле, я спустился под землю, чтобы вернуться домой.

Я столкнулся с ней в тот момент, когда она входила в подъезд. Она сразу заговорила, стала упрекать меня, что я забыл про нашу встречу, что она вынуждена была просидеть одна полвечера и что можно было хотя бы предупредить. Некоторые части её речи, впрочем, я уже не мог разобрать и, оборвав её ламентации, переспросил название кафе. Она произнесла название. Второй раз. Медленно, по слогам и с раздражением в голосе. И оно, это название, оказалось совсем не тем, которое осталось у меня в памяти после нашего утреннего разговора.

А потом я вдруг понял, не знаю как, что она не была ни в каком кафе и не выходила из метро. И не потому, что хотела наврать или что-то скрывала от меня, а потому, что в её речи эти слова уже имели какое-то другое значение. По её дальнейшим жалобам, не смолкавшим всё время, пока мы поднимались к себе в квартиру, опять же, довольно смутным и неразборчивым, место, в котором она провела весь вечер, скорее походило на сквер, метро — на автобус или на такси, а может, просто на пешую прогулку. И уж не знаю, имело ли ещё слово «ожидание» в её языке то же значение, что и в моём. И самое главное — был ли я тем, кого она называла сильно искажённым вариантом моего имени.

И я начал вспоминать, как последнее время мы мучительно не совпадали в простейших вещах: в вилках, тарелках, стульях, столах, свитерах, дверях, замках, которые в её речи куда-то сместились, поменяли значение, обрели дополнительные смыслы. Отчётливо помню, как однажды за завтраком попросил её передать мне ложечку, а она, ни секунды не раздумывая, протянула мне нож, как в другой раз, когда я принёс ей попрошенное ею одеяло, она посмотрела на меня с недоумением, встала и сама достала из шкафа подушку. И всё это сквозь пелену какого-то дикого и всё более и более непроходимого произношения, под аккомпанемент непривычной для моего уха интонации и без каких-либо следов ударения. Да-да! От ударения она избавилась и произносила все слова монотонно и холодно, избегая встречаться со мной взглядом.

На людях мы почти не разговаривали друг с другом, чтобы избежать неловких ситуаций. Однажды мы просидели весь вечер на чьём-то дне рождения, не перекинувшись ни словом. Вдруг одна из её знакомых спросила о наших планах на отпуск. Мы, забыв о нашем негласном договоре, кинулись отвечать вместе, потом, услышав друг друга, одновременно замолчали, я сделал жест рукой (в надежде, что хотя бы жесты в её системе координат сохранили своё прежнее значение), приглашая её рассказать о планах, налил себе что-то из первой попавшейся под руку бутылки и, откинувшись в кресле, принялся угадывать по репликам подруги о наших планах на отпуск. На понимание её речи я уже не надеялся и с завистью смотрел на тех, кто её понимал. Т.е. на всех остальных.

Я слушал её речь и думал, что так, наверно, могли бы говорить славяне, случайно забредшие на экватор во времена великого переселения народов или перенесённое в бассейн Днепра племя бедуинов. Сквозь напластования странных звуков иногда пробивалось что-то едва знакомое, на чём мы когда-то говорили друг с другом. Но чем дальше, тем этого знакомого становилось всё меньше. Её речь менялась буквально на глазах. Она избавлялась от окончаний, превращала значимые слова во вспомогательные, тасовала части речи в предложении, как колоду карт. И всё это без каких-либо усилий, без боязни что её не поймут или высмеют, не обращая, совсем не обращая внимания на тоску, которую у меня вызывали её языковые игры.

Домой мы шли молча с чувством, которое испытывают случайные прохожие, сравнявшиеся друг с другом и продолжающие двигаться в одном направлении с одинаковой скоростью. Но замедлить ход или прибавить шагу, чтобы оторваться друг от друга, никто из нас не осмеливался. Прошлое держало нас вместе сильнее, чем все приличия и языковые нормы.

В отпуск, про планы на который я ничего и не понял тогда, сидя в гостях, мы так и не поехали. Вернее, она поехала со своей подругой. Возможно, даже той, которая спрашивала про отпуск. На меня свалилась какая-то работа, из-за которой я вынужден был остаться, но я-то знал, и она, думаю, догадывалась, что это был лишь предлог и что, не случись завала на моей работе, он бы обязательно случился на её работе. Потому что провести две недели вместе, слушая и почти не понимая друг друга, было бы пыткой для нас обоих.

Признаюсь, я с ужасом ожидал её возвращения из отпуска. Её и её речи. Мне представлялось что-то нечеловеческое и доисторическое. Что-то, десять тысяч лет тому назад перебравшееся с Чукотки на Аляску по обмелевшему Берингову проливу, спустившееся через обе Америки к мысу Горн и теперь возвращающееся обратно в Евразию тем же путём. Мне представлялся чудовищный диалект, вобравший в себя всё самое страшное, что было в языках Нового Света до открытия его Колумбом. Что-то совершенно непонятное и далёкое. Каменные истуканы острова Пасхи. Каракули в пустыне Наска. Город посреди джунглей. Речь, поросшая лианами, кишущая змеями и скорпионами. Речь-призрак. Речь-гробница.

Когда она вошла в квартиру после двух недель отсутствия, я, чтобы подольше не слышать изменений в её языке, заговорил первым. Я говорил, а она снимала обувь, вешала куртку, смотрелась в зеркало, поправляла волосы, а потом присела на банкетку и непривычно внимательно стала прислушиваться ко мне. При этом она следила за моей артикуляцией, а когда я делал паузы, переводила взгляд на мои глаза. Наконец, минут через десять, она прервала меня и с кристально чистым столичным

выговором, которого я не слышал от неё уже много месяцев или даже, может быть, не слышал никогда, сказала, что я как-то странно произношу слова.

Я посмотрел на неё с удивлением. И даже не знаю, к чему оно больше относилось: к её речи, внезапно исправившейся после двухнедельной поездки, или к замечанию в мой адрес.

Она ответила мне таким же удивлённым взглядом и, всплеснув руками, воскликнула:

— Что стало с твоими гласными? Ты же не выговариваешь нормально ни одного окончания!

Я попытался собрать из первых попавшихся слов предложение, чтобы доказать свою языковую состоятельность, но вместо этого молча опустил на банкетку рядом с ней и стал раздумывать обо всём подряд, но больше всего о покинувших меня гласных. Она тоже сидела молча и о чём-то думала: возможно, об окончаниях, на которые раньше никогда не обращала внимания, возможно, о нескладывающихся отношениях между моим и её отпуском. Нам больше нечего было сказать друг другу, но впервые за последний год наше молчание не было неловким. Никто из нас не порывался нарушить тишину, немедленно взяться за какое-нибудь неотложное дело или уткнуться в первый попавшийся под руку текст. Мы просто молчали и не чувствовали от этого никакого дискомфорта.

Наконец, она встала, медленно прошла по коридору, остановилась в дверях и, обращаясь по своему обыкновению сразу ко всем вещам в комнате и немного ко мне, задумчиво сказала:

— Ладно, обойдёмся без гласных как-нибудь.

Александр Вергелис

Плавки

Рассказ

В портфеле находились: расчёска, очечник, электробритва. Был там и особый пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный.

Расчёской он, само собой, расчёсывал волосы — расчёсывал так, чтобы жидкие соломенные пряди прикрывали белизну ранних залысин. В очечнике (он говорил, как бабушка — *очешник*), разумеется, покоились очки — пожалуй, слишком большие для его узкого лица. Он страдал дальновзоркостью, которую в шутку именовал дальновидностью, однако хорохорился и окуляры надевал только на работе, усевшись перед монитором.

Электробритва пускалась в ход по дороге на службу: обычно он брился за рулём, в утренних пробках, поглядывая в узкое автомобильное зеркальце заднего вида, в котором, как две крыжовины в компоте, сонно плавали его бесцветные зрачки. Не то чтобы он не успевал совершить этот ритуал дома — а впрочем, пожалуй, что и не успевал: был медлителен, что всегда раздражало шустрюю Ангелину, часто повторявшую, что её благоверный скор только при исполнении супружеского долга. Она вообще любила пошутить на эту тему. «Шумахер ты мой», — с досадой бросала мужу, отдувавшемуся в подушку. То же самое говорилось во время совместных поездок на автомобиле, когда он, по мнению жены, не проявлял должной резвости за рулём. Фамилия знаменитого гонщика часто рифмовалась весёлой Ангелиной с выражением «иди ты на хер» и постепенно стала домашним прозвищем, почти вытеснив его собственное имя Кирилл, которое ему самому «активно не нравилось».

Утренние сборы на работу начинались с мытья в душе (через день), приготовления и поглощения завтрака (овсянка или яичница), завершались же чисткой зубов и одеванием. По утрам, с недосыпу, кусок не лез в рот, но ел Кирилл-Шумахер обильно, терпеливо запасаясь калориями впрок — на работе из экономии почти никогда не обедал, если не считать обедом бутылку ацидофилина или шоколадный батончик, запиваемый пакетированным чаем. Сократить время завтрака было невозможно, и в неизменном, устоявшемся с годами утреннем распорядке пяти минут на бритьё не оставалось. К тому же шмелиным жужжанием электробритвы можно было разбудить чутко спавшую Ангелину, а он предпочитал покинуть жилище до её пробуждения.

Вергелис Александр Петрович родился в Ленинграде в 1977 году. Публикуется как поэт, прозаик и критик в журналах «Аврора», «Волга», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Дружба народов» и других. Лауреат нескольких литературных премий. Автор книги стихов «В эпизодах» (2010). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 7.

Впрочем, жена вторую неделю жила на даче, и это, кстати, означало, что вечером после работы он обязательно поедет туда же, ибо остаться в городе одному было никак нельзя. Когда дача приобреталась (главным образом на деньги от продажи его холостяцкой комнаты), в сердце проклюнулась надежда, что летние вечера будут целиком принадлежать ему. Однако в начале дачного сезона Ангелина настояла, чтобы после работы муж ежевечерне «дул на фазенду» — мало ли чем он там занимается без неё, мало ли что там устроит в квартире. Про женщин не думала: знала, что кишка у него тонка, водить домой баб, да и вообще не верила, что кто-то может у этого чудика завестись, но друзья детства и юности — эти хитроглазые недобитки, эти выползки из проклятого прошлого, эти призраки холостяцкой жизни — могли его, бесхребетного, куда-нибудь затащить.

Иногда он спрашивал себя: зачем, почему так легко расстался он со своей свободой, которую, впрочем, никогда не ценил, а напротив — тяготился ею как чем-то постыдным. Ведь можно было бы и пожить гражданским браком, присмотреться, приняться, а там и решить. Но Ангелина сразу поставила условие: или в загс или никак. Ему, вечно голодному по женской части и крепко запавшему на выдающиеся Ангелинины прелести, выбирать не пришлось. В самом начале, правда, он попробовал было найти компромисс, пустившись в многословные рассуждения о необходимости «узнать друг друга получше», для чего было бы «весьма целесообразно просто пожить вместе, как делают все». Но «все» — это не про Ангелину. «Я себя не на помойке нашла», — отрезала она, и это был аргумент.

Итак, сегодня он снова поедет на дачу. Его ждал чахлый огородец с ядовито-зелёной будкой посередине, который царившая там усатая и костистая Мама именovala домиком Ниф-Нифа. Фирменный фамильный сарказм был обращён на бесталанную голову зятя, в узком лбу которого никак не умещались те пресловутые семь пядей, кои должны были бы обеспечить её дочери «достойную жизнь». Между тем сама Ангелина, всегда вполне реалистично оценивавшая свои матримониальные шансы и сделавшая правильные выводы из опыта первого замужества, супругом, в общем и целом, была довольна: да, звёзд с неба не хватает, достоинствами не блещет, но — стабильный, хоть и не великий доход, а главное — образцовое послушание. Иной раз она, по наущению ли беса, из желания ли прощупать границы мужнего смирения, перегибала палку — да так, что даже Мамины усы шевелились недоумённо и укоризненно. В такие минуты Шумахер надувался, иногда взбрыкивал, а всё больше отмалчивался и напряжённо сопел, что умиротворяло отходчивую Ангелину.

Хотя, конечно, такая медлительность и нерасторопность могли вывести из себя кого угодно. Например, по подсчётам Ангелины, на дачу муж мог бы приезжать и пораньше, но тот всякий раз обстоятельно, «с цифрами в руках» объяснял, куда делись те сорок минут, которые он, по её подозрениям, «потратил неизвестно на что». Набор объяснений был невелик, но вполне надёжен: задержка на работе, пробки на выезде из города, очередь на заправке. На крайний случай приберегалась поломка машины — этой оранжевой, как апельсин, коробочки, как её презрительно называла Мама. Состояние его «подруги юности» — пожилой малолитражки с удивлённо выпученными круглыми фарами — было таково, что рассказ о поломке выглядел бы вполне убедительно. Впрочем, не столько правдоподобие рассказа, сколько невинный, почти детский вид рассказчика убеждал Ангелину в том, что муж говорит правду, и вина его заключается не во лжи, а в поразительной способности — даже, пожалуй, таланте — притягивать неприятности. Мужнее «неумение врать» (Ангелина считала себя большим психологом) было ещё одним положительным качеством в глазах женщины, измученной предыдущим браком, в котором были «только ложь и обман».

Он не особенно и врал — он всё больше юлил и лукавил, уснащая свои рапорты приправами из полуправд и сюжетных натяжек. Конечно, он мог бы приезжать несколько раньше. Но в то же время и не совсем мог! Необходимость загородных ночёвок тяготила, но и открывала новые возможности. По дороге можно было остановить машину у леса и — нет, даже не погулять — просто несколько минут постоять в хвойных чертогах, послушать птиц, выкурить запретную сигаретку... И — насладиться мыслью о своей тайной свободе.

— Люблю природу и свободу, — уже почти стихами говорил Шумахер вслух не то самому себе, не то воображаемому собеседнику, размахивая на ходу бледными тонкими ручками с розовыми остренькими локотками.

Первое, что дарило гжучее наслаждение, когда он, лихо хлопнув дверцей и сойдя с нагретой солнцем трассы, ступал под еловые своды в шелестящие сумерки — сырой запах леса, запах жизни и смерти, свежей листвы, подножного праха: прелых листьев, гнилого дерева, плесени грибниц. Он дружески охлопывал сосновые стволы, поднимал голову, глядя в голубую высь, как смотрят дети в глаза взрослым, потом приседал на корточки, с увлечением щипал заячью капусту и разглядывал нижний ярус лесного мира: сплетённые корни, зелёные ворсинки мха, копошащихся насекомых.

Но этой пассивной, созерцательной свободы со временем ему стало маловато — в нём зарождался бунтарский дух, жажда действия наполняла его маленькое сердце. И в один прекрасный апрельский вечер, когда Шумахер, направляясь на дачу, проезжал через Сестрорецк, голову ему вскружила одна дерзкая мысль.

Пьянящая сладость запретного удовольствия ждала его там, где на холодных волнах качались чайки, где бездельники-рыболовы возились со своими удочками. Настанет день, когда он сделает нечто, о чём никто не узнает. Да, он выполнит правило летнего распорядка, он поедет на дачу. Но не просто поедет! Он кое-что захватит с собой. И по дороге с работы кое-где остановится. Что именно захватит и где остановится, никто, кроме него, знать не мог. Это была его тайна. Тайна была заключена в особом пакетике — полиэтиленовом, но не прозрачном, — находившемся в портфеле вместе с расчёской, *очешником* и электробритвой.

О, что это будет за остановка! Предвкушать он начал загодя, когда, озираясь по сторонам, тайно посетил магазин спортивных товаров. В кулаке у него таились свёрнутые трубочкой сторублёвки. Это были обеденные, точнее — ацидофилиновые деньги, наэкономленные за счёт его маленького желудка. Ангелина еженедельно снимала с его зарплатной карты, которой завладела уже через неделю после свадьбы, заветную тысячу. Эту тысячу с юморком, унаследованным то ли от отца-танкиста, то ли от предыдущего мужа-милиционера, она называла «денежным довольствием». Деньги на бензин для коробчонки выделялись отдельно. Эти шли по статье «транспортные расходы». Других расходов Шумахеру не полагалось, носки-трусы и прочие необходимые вещи Ангелина покупала мужу сама.

В особом пакетике — само собой, полиэтиленовом, но не дай Бог не прозрачном — лежали новенькие, с этикеткой на белоснежной ниточке, плавки. Сколько тайной радости, сколько волнений вызывало это дивное слово! Сколько заветных воспоминаний пробуждало оно: запах нагретой солнцем резины, песок в сандалиях, варёная кукуруза с солью, чаячий далёкий крик, студень из медуз в сачке, мама, не такая строгая и пока ещё с папой... Плавки — плавать, плавиться на солнце, плавно погружаться в счастливый сон после огромного, сияющего, звенящего, упоительно-утомительного дня на море. Да разве только море! Летом ездили с родителями в Озерки, где был песок и были сосны. Ангелину при одном упоминании о купании в каких-либо озёрах передёргивало: грязь, толчея, чужие почти голые бабы... Фу! Ему что, мало дачного

душа? Да бочка для дождевой воды чище, чем все эти озёра! Подцепит там заразу, лишай какой-нибудь, так не то что в постель — на порог не будет допущен! В будке собачьей ночевать будет! Если уж купаться, то на море — например, в Сочи. Но разве с таким мужем куда-нибудь поедешь? Да и когда? Как оставить парники, земляничные гряды? Если хоть на неделю ослабить борьбу с сорняками-трифидами, всё зарастёт так, что мама не горюй! Словом, какие там купания!

Мечтать о купании было постыдной, ребяческой глупостью. О тайном, приватном купании, задуманном в обход семейной жизни, — преступлении. Мучительным наслаждением было время от времени вынимать из ящика рабочего стола полиэтиленовый непрозрачный пакет, осторожно заглядывать в его сокровенный сумрак. Вот они — синие, как само море, с кармашком для ракушек и камушков, подобранных на дне. Это не просто плавки. Это больше, чем плавки. Это — залог его торжества над обстоятельствами, символ его тайной свободы. Знамя борьбы, до поры хранимое от постороннего глаза. С каким нетерпением ждал он тёплых дней — даже в детстве так не хотелось лета, как сейчас, в возрасте, именуемом зрелостью! Коллегам Шумахер говорил, загадочно улыбаясь: вот настанет июнь... И что? — спрашивали коллеги, — возьмёшь отпуск? Как раз-таки отпуск брать не хотелось: тогда пришлось бы круглыми сутками маяться на даче с Ангелиной и Мамой.

Нет, нет, — качал он головой, — вот настанет июнь...

И вот, июнь настал — да какой! — с яростным солнцем, с душными тёплыми ночами — как будто нарочно для него перенесённый в город неким волшебником откуда-то с юга, с Чёрного моря, шумевшего где-то в области детских воспоминаний. Такая погода стояла уже неделю, и вода в Разливе, должно быть, уже нагрелась. Сначала он думал надеть плавки с утра и носить их весь рабочий день под штанами: так удобнее, не надо переодеваться, озираясь и скача на одной ноге в каких-нибудь сомнительных кустах. Но потом решил: пусть дождутся своего часа, полежат в портфеле. Ждали ведь почти три месяца, подождут ещё немного.

С самого утра на работе всё валилось из рук. Сидя в своем «кабинете» — узком ущелье между шкафом с канцелярскими папками и давно не мытым окном, за которым чадила вечная автомобильная пробка, — он не мог думать ни о чём другом. Мысль о предстоящем событии стискивала сердце, увлажняла ладони, высекала на лбу мелкую зернь пота. Мысль эта и мучила его, и окрыляла. С того самого часа, когда он отправился в спортивный магазин, покой оставил его. Сразу возник вопрос: где хранить. Дома держать плавки было бы безумием — от орлиного глаза Ангелины ничто не укроется. В портфеле — тоже не вариант, портфель она время от времени проверяла. Хранил в «кабинете», а именно — в нижнем ящике маленького стола, прикрыв старой канцелярской папкой. Особым удовольствием было, придя утром, выдвинуть ящик, приподнять папку и увидеть пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный. Удовольствие тут смешивалось с чувством тревоги, с чувством вины и ещё с целым набором чувств, для которых он не мог бы подобрать название.

Душевное равновесие было утрачено, однако с тех пор что-то в нём изменилось, что-то новое проросло внутри. И как-то иначе стал он к себе относиться, будто чувствовал: при плавках он — не совсем он. При плавках он — нечто большее. Было, конечно, немного стыдно — всё это походило на супружескую измену — да так, в общем, оно и было: узнай Ангелина о его тайных планах, иначе как предательством она бы это не назвала. Со временем Шумахер стал привыкать не только к тайномыслию, но и к постоянным угрызениям совести. Он дивился своей выдержке, тому хладнокровию, с которым просчитывал детали предстоящего преступления. Но когда заветный день был назначен, самообладание изменило ему — ночами он плохо спал,

в присутствии Ангелины отмалчивался, боясь выдать себя неосторожным словом. В последнюю ночь перед «Операцией Пи», как Шумахер это про себя называл, продремал он дай Бог часа два, да и те промучился кошмарами — снилось, будто он продавец в рыбном отделе, и что губастые осетры и карпы, плавающие в мутной, похожей на огуречный рассол воде, с ним разговаривают...

Сонный, нервный, по пути на работу он чуть не угодил в аварию, потом едва не задавил бабку на переходе. Кондиционер в «кабинете» не работал, пот катился со лба и крупными каплями падал на бумаги. Рабочий день казался бесконечным. И всё-таки, несмотря ни на что — ни на особенно ядовитые придирки начальства, ни на язвительные реплики коллег, — на душе у Шумахера было легко, воздушно. Думал он об одном: только бы коробочка не подвела: нормально завелась, не заглохла, что с ней иногда случалось. Но машина не подкачала — задорно рыкнула, заурчала и понесла его, счастливого, навстречу мечте.

Итак, в портфеле его находились: расчёска, *очешник*, электробритва и особый пакетик — полиэтиленовый, но не прозрачный. Он всё рассчитал: на купание потратить не более получаса — на первый раз хватит. Волосы, пожалуй, не мочить — могут не успеть высохнуть. Хотя на такой жаре, да ещё если опустить стекло, чтобы обдувало ветром... Одним словом, плевать, можно и с головой. А впрочем, нет, лучше не рисковать, Ангелина может учуять запах озёрной воды — нюх у неё, как у собаки.

За этими размышлениями незаметно пронеслось время, и вот уже справа заблестела позолоченная вечерним солнцем вода, над которой суетились сливочно-белые чайки. «Как на море», — сладко подумал Шумахер, и через минуту уже парковал свою апельсиновую малолитражку на площадке возле пляжа, где на высокой стеле застыли в вечном взлёте два бронзовых виндсерфера. Шумахер огляделся. Городские многоэтажки, шоссе, вода, деревья, ещё высокое солнце — всё вокруг казалось ему почти идеальным, если не считать группу тунеядцев, судя по густому загару, завсегдатаев этого места, сидевших на усеянной подсолнуховой шелухой траве. Один — самый противный, кругломордый — посмотрел своими свинячьими глазками на его машину, потом на него и, усмехнувшись, что-то хрипло сказал приятелям, которые дружно загоготали. Было немного не по себе, но ещё в школе он выработал «систему психологической защиты», не раз помогавшую ему в подобных ситуациях: не давать воли эмоциям, смотреть сквозь врага, относиться к нему как к пустому месту (разумеется, если враг не переходит к активным действиям). Да и что они сделают — кругом люди. Как будто почувствовав эту его уверенность, тунеядцы вскоре переключились на разомлевшего пьяненького товарища, который разлёгся прямо на заплёванной семечками траве. Пока они тормозили его, щипали за голые бока, обдували дымом, Шумахер смотрел вверх, туда, где бронзовые юноша и девушка ловили ветер любви и свободы двумя парусами-крыльями. Глядя на эту скульптурную пару, хотелось мыслить себя таким же молодым, вольным и смелым. Таковым он, пожалуй, в эти минуты и был — до того мгновения, когда ощутил неприятную тянущую слабость внизу живота. Обеденный ацидофилин в этот день слишком долго стоял на раскалённом подоконнике... Шумахер с тоской поглядел на прибрежные кусты, но быстро сообразил, что в таком месте обязательно должен быть туалет. Туалет оказался рядом — сразу за пляжем. Несколько секунд он раздумывал, взять ли с собой или оставить в машине портфель, но, представив себе грязный пол, на который придётся его поставить, махнул рукой и засеменил по направлению к серому домику.

Вернувшись, он не сразу понял, что произошло. Всё было так же, как и было, только загорелые тунеядцы куда-то делись, оставив после себя на примятой траве созвездие плевков, окурков и нескольких пустых бутылок. И ещё. Как-то странно

выглядела машина — что именно изменилось, было не понять, он напрягал зрение, тревожно вглядываясь в стекло левой дверцы, но очки были там, в портфеле, в *очешнике*. Только подойдя к автомобилю, Шумахер совершенно спокойно, без волнения констатировал, что боковое стекло грубо высажено, а дверца приоткрыта. Внутри, на водительском сидении в хрустальной россыпи осколков покоилась половинка дырчатого кирпича, а вот портфеля внутри не оказалось. Он валялся метрах в пяти — распотрошённый, почти что вывернутый наизнанку. Чуть поодаль чернел *очешник*, в раскрытом виде похожий на выеденную раковину мидии. «Это они, они...» — думал Шумахер, озираясь по сторонам и не видя главного... Пакета — полиэтиленового, непрозрачного — нигде не было. Даже очки вскоре обнаружились — вмятые в песок, с погнутой дужкой, но в общем целые. Даже кошелёчек, в котором ничего не было, кроме мелочи, нашёлся, а вот пакетик с плавками исчез.

Шумахер долго бродил вокруг с портфелем под мышкой, он вглядывался в лица отдыхающих, как будто надеясь прочитать в их глазах ответ на свой единственный вопрос. И вздрогнул, увидев уже знакомое лицо, — нет, не лицо, а омерзительную скотскую морду. Тот самый, круглорожий, сидел на траве, сложив по-турецки ноги, и смотрел на него. Вернее — сквозь него. Или вообще никуда не смотрел — судя по всему, он был чудовищно пьян и еле держал голову. Статуэтка Будды — вот кого он напоминал. Это, конечно, его рук дело... Их рук дело... Это они... Они!

«Вы! Ты! Сволочь! Где? Где?» — беззвучно кричал он изнутри своего мучительного молчания, схватившись за сдавленное спазмом горло. — «Где пакет, гадина? Где? Вот я тебя... В полицию! В полицию!» Он огляделся, но единственным существом в форменной одежде, находившемся поблизости, была рыжеволосая мороженщица в голубом фартуке и голубой же кепке, меланхолично катившая мимо свой морозильный ларь. Толстые подошвы тапок звучно шлёпали её по круглым пяткам, на одной из которых болтался полутотклеившийся пластырь телесного цвета. Шумахер долго провожал глазами этот маленький трепещущий на ветру флажок. Хотелось лечь прямо здесь, на бетонных плитах, свернуться криветкой и заскулить, как в детстве, от обиды и отчаяния, от абсолютного одиночества. Он вцепился обеими руками себе в волосы, под ноги ему упал пустой портфель да так и остался лежать в пыли.

Прошло минут пять. Шумахер медленно обвёл взглядом вечерний пляж. Он смотрел на всех этих рыхлых мамаш с их бесноватыми чадами, на всех этих высохших городских патрициев и их тучных матрон, на всю эту картину жалкого вечернего отдыха почтенных горожан и усмехался. В усмешке его была печаль и усталость. И когда он, стремительно обнажив углый торс, рванул вниз тесные брюки — рванул вместе с семейными, в цветочек, трусами, могло показаться, что на несколько секунд всё вокруг замерло, — даже чайки как будто прекратили свой гвалт, даже шоссе перестало гудеть. Он быстро выпутался из упавших на песок одежд и зашагал к воде — нагой и свободный. Он не слышал, как загоготала за спиной обугленная солнцем шпана, как завохтали женщины, как чей-то скрипучий голос призывал к порядку... Он вошёл в воду, лёг на грудь и медленно поплыл в сторону солнца.

Он плыл так долго, что никто из находившихся на пляже не мог сказать точно, вернулся ли он назад. Никто впоследствии не мог с уверенностью утверждать, осталась ли на обочине шоссе оранжевая, как апельсин, малолитражка с разбитым стеклом, или в тот же вечер исчезла. Рыбаки рассказывали, что изредка вечерами, обычно в ненастную погоду, видели совершенно голого мужчину невыразительной наружности, ищущего что-то на берегу. Вёл он себя смирно, к людям не приближался. Впрочем, кто-то видел, как однажды он с криком бросился на одинокого купальщика и попытался сорвать с него плавки — синие, как море.

Терентий Кондратенко

Пятая эссенция

Есть непостижимое свойство классических стихов, известных нам наизусть: помимо самого сообщения, которое зачастую легко «пересказывается своими словами», они несут нечто, сдвигающее наше понимание классического текста в область недоумения, и мы принуждены его снова и снова разгадывать. И тогда стихотворение обретает свой чудесный статус, оказываясь в зоне непостижимой смутности, оно как бы яснее, оставаясь всё более и более загадочным.

Баратынский именовал недоумение условием нашего существования, «манкостью бытия».

Вот и в стихах Терентия Кондратенко я различил подобный ключ.

Сочинитель словно бы погружает со-знание читателя в область непроященного (смутного) и очень ясного одновременно (как будто оптически сфокусированного). Время высказывания, которое порождает стихотворение, парадоксально не завершается, а пребывает в становлении и приобретает грамматическую форму настоящего совершаемого, свойственную только поэзии. Так, несомненно, и должно быть в стихах.

Именно этот маркер и позволяет нам судить о них как об эссенции наших переживаний, именно в нём заключена точность и оптическая, и психологическая, и именно таким образом рождается понимание, невозможное без сочувственного волнения.

Николай КОНОНОВ

* * *

я хотел сказать миру
что никто мне не нужен
мир мне ответил
что я нужен всем
новый день обещает
новую жизнь
в синей дымке тает
кровавый рассвет

Терентий Кондратенко родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. Студент исторического факультета Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. Живёт в Санкт-Петербурге. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Солнечные лучи,
вновь выходящие из-за облаков,
своими тяжелейшими ударами
смущают воспалённую черепную коробку.
Контузия, снова контузия, и вот
уже сам окружающий мир совсем не так привычен взгляду, как
взгляд привычен миру.
Взгляд пуст и ошарашен.
Мир, обыденно величавый,
теперь совершенно чист.

* * *

Главное в этом дне —
солнце, палящее и вездесущее;
огромный шар в огне
так и норовит, падла, рухнуть.
Сигареты кончаются, хотя
когда бы им начинаться?
Новое слово как бы нехотя и скрипя
приходит на ум,
захватывая, поработывая,
принуждая изрыгать
себя
на нелинованную и свежую
бумагу. Какая всё-таки
мерзость эта ваша,
да и, чего лукавить,
моя, поэзия.

* * *

Вечная весна рвёт десятками валами палитру
апрельского акрила или майской акварели
во имя тебя или меня, во имя старой силы,
неизведанной и, наверное, безымянной.
Вечная весна, бесконечно долгая в этот кроткий
и краткий миг, говорит с нами, слышишь? Её
неживой язык, вибрации и хрип сквозь изодранное
полотно трупной глотки?
Вечная весна, ощущаемая даже пустотой, заполняющая
её, поющая фибрами больной души, сулящая
исцеление и освобождение — она здесь, слышишь?
Не слышать это пение невозможно.
Вечная весна рвёт девятью валами стены
Иерихона, который ты выстроил. Трубы поют
всё громче, и скоро эти стены рухнут,
останется только ветер, мчащийся куда-то на север.
Вечная весна — оголтелые крики или драка
до крови, побег, побег от действительности,
где юность и девственность живут всего три
месяца, уступая место опытности и развращению.
Вечная весна зовёт за собой, но не может
не оттолкнуть своей дикостью. Ей знаком покой,
но её язык ничтожен и не передаст её и его (покоя)
сути. Её язык просит движения и смерти, жизни.

Вечная весна как вещь в себе, проживая
собственную вечность, теряет что-то,
что уже было потеряно. Утраченное
в вечности теряется ли действительно?
Вечная весна рукоятью ножа врезается
в плоть ладони, пальцев, но не ранит —
уже убитое проскальзывает мимо,
нож не имеет лезвия.
Вечная весна как девиз или метафора,
объединяющая сила, постулирующая
собственное бесконечно гордое и потому печальное,
но всё же живое одиночество.
Вечная весна среди тёплой зимы
или дождливого и холодного лета,
запах петербургской парадной и
неоднократно воспетых парижских бульваров.
Вечная весна — и ночью не все
кошки серые, но в своей кошкости
непрерывно однородные, как из пробирки;
это не столько стих, сколько наблюдение.
Вечная весна, обещание новой любви
или старой депрессии, катится по
железнодорожному полотну как
паровоз без машиниста.
Вечная весна и паровоз — это,
конечно, всего лишь стих, а не
наблюдение. Отсутствие машиниста так же
метафорично, как идущий в никуда поезд.
Вечная весна, уход к тьме глубинных начал
и непреодолимая воля к росту над собой,
путь к саморазвитию через саморазрушение,
самостирание, грунтовку уже использованного холста.
Вечная весна, метафора, приходящая извне,
но живущая и проживаемая внутри.
Вечная весна, девятым валом сметающая
лёд и холода, сковывающие что-то снаружи. Или нет.

* * *

сон окутывающий разум
сходит и испаряется как утренняя
роса
оставленные сном позиции
последовательно шаг за шагом
занимает утро или другое
время суток
жизнь представляет собой этот круговорот
достаточно тривиальный и моментами утомительный
ночь не означающая сон в этом смысле
является своего рода пятой эссенцией
жизни и даже свободы
отрицающей тривиальность
и саму сменяемость

Александр Васькин

«Второй съезд — кто кого съест»*

Съезды советских писателей глазами их участников

Совесть писателя должна быть в полной мере совестью народа.

Константин Паустовский

В советское время (от оттепели до перестройки) одной из действенных мер воспитания населения было проведение всякого рода съездов, слётов, собраний и пленумов. Месяца не проходило, чтобы в Москве или Ленинграде не собралось какое-либо важное совещание. Съезжались на свои съезды со всей страны колхозники, художники, кинематографисты, учителя, композиторы и, наконец, писатели. Алексей Кондратович (заместитель А.Твардовского в «Новом мире») в этой связи отметил в дневнике 24 марта 1970 года: «Сегодня открылся Российский съезд писателей — мероприятие парадное, как все наши съезды и даже многие совещания. Нигде в мире не бывает столько съездов и совещаний, как у нас, — и так тянется уже шестой десяток лет. И давно всё это формальность, впрочем, довольно дорогая». А дорогая по той причине, что иногородних делегатов, коих обычно набиралось несколько сотен, требовалось за государственный счёт доставить в Москву, разместить в гостиницах, накормить, обеспечить им культурную программу (Большой театр и Третьяковка), и наконец отправить восвояси, снабдив сувенирами и дефицитом.

Главным в стране был съезд коммунистической партии. Начиная с 1961 года съезды КПСС проводились каждые пять лет, их решения объявлялись постулатами, которые надо было претворять в жизнь. В СССР везде где ни попадя — на фасадах домов, в красных уголках заводов, фабрик и жэков — висел один и тот же лозунг: «Решения съезда КПСС — в жизнь!» Менялся только порядковый номер съезда. В частности, на XX съезде КПСС устами Никиты Хрущёва было произнесено, что «Искусство и литература Советского Союза могут и должны добиваться того, чтобы

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского (2019), автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2022, № 4.

* Глава из книги «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки», готовящейся к печати в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Повседневная жизнь человечества».

стать первыми в мире не только по богатству содержания, но и по художественной силе и мастерству». В принципе, ничего плохого в поставленной цели нет, другой вопрос — насколько она реальна в сложившейся обстановке. Так же, как и перспектива построения коммунизма...

Мучали бестолковыми, пресными собраниями и писателей, которые порою находили в себе силы отбиваться: «Кончилось лето, и из Союза и ЦДЛ посыпались повестки и приглашения. Сегодня приглашают на собрание секции драматургов с повесткой дня “Драматурги столицы навстречу XXV съезду партии” с примечанием “Ваше присутствие обязательно” и с просьбой сообщить по телефону, если я не смогу быть. Ещё там будет выбор делегатов на московскую писательскую конференцию. Всю жизнь мечтал», — записал в дневнике 25 сентября 1975 года Александр Гладков. И когда только они время находили — сочинять, ведь не все воспринимали участие в заседаниях как неизбежную и мешающую творческому процессу повинность (и даже оброк!), для некоторых это было огромной честью, особенно если выбирали в президиум. Не добившись успеха в литературе, такие писатели устремлялись к номенклатурным высотам, где мест всем не хватало.

О чём обычно велась речь на писательских съездах? «Красной нитью сквозь все речи ораторов проходит мысль о благотворном значении могучей жизнеутверждающей силы литературы социалистического реализма, о патриотическом долге писателя, как верного помощника Коммунистической партии в её гигантской работе на благо трудящихся, на благо человечества», — из статьи газеты «Правда» от 19 мая 1959 года о Третьем съезде советских писателей.

А Второй съезд «помощников партии» (т.е. писателей), ознаменовавший робкое начало оттепели, открылся 15 декабря 1954 года в Большом Кремлёвском дворце и продолжался более десяти дней. Участником его был и Юрий Нагибин, отметивший в эти дни в дневнике: «Позорный дурман грошовой тщеславия. Сам себе гадок... Выбрали — не выбрали, назвали — не назвали, упомянули — не упомянули, назначили — не назначили. Я, кажется, никогда не доходил до такой самозабвенной ничтожности». Далеко не все советские писатели были готовы на столь глубокий и подробный психологический анализ, способностью к которому продемонстрировал в своём дневнике Юрий Маркович. Многие полагали, что ради этого и нужно жить — чтобы поощрительно «упомянули» в основном докладе.

Важным было и то место, которое отводилось писателю на традиционном съездовском банкете. Здесь так же рассаживали по рангу. Верхушка Союза писателей и приближённые к ней литераторы пили и закусывали в Георгиевском зале (во главе стола сидели члены Политбюро), остальные же — в Грановитой палате: «Не забыть, как мы вскакивали с рюмками в руках, покорные голосу невидимого существа, голосу, казалось, принадлежавшему одному из тех суровых святых, что взирали на наше убогое пиршество со стен Грановитой палаты. Покорные этому голосу, мы пили и с холуйством, которое даже не могло быть оценено, растягивали рты в улыбке (основной банкет шёл в Георгиевском зале, и нам он транслировался по радио)». Нагибин называет торжественный приём, которым по традиции заканчивались писательские съезды, «убогим пиршеством». И это в те не очень сытые времена. Скорее всего, Юрий Маркович имел в виду, что писательский банкет выглядел убого по сравнению с роскошными пирами русских царей, которыми и прославилась Грановитая палата, а не с пустыми полками продуктовых магазинов.

А у делегата Константина Яковлевича Ваншенкина (он пришёл на приём с женой, поэтессой Инной Гофф) и спустя много лет осталось совсем иное мнение: «Настоящий, солидный, сидячий ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиной. Что называется, на старый лад. Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате, — не потому, что я был молод, рядом с нами сидели и маститые. Мне здесь даже

больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами» (из мемуаров «Писательский клуб»). Думаю, что понравилось бы многим... Что же касается столь противоположных взглядов Юрия Нагибина и Константина Ваншенкина на одно и то же событие, то оно лишний раз подтверждает, насколько разными были писатели, вынужденные состоять в одном-единственном союзе.

Константину Ваншенкину было с чем сравнивать — в те годы в Москве в некоторых ресторанах ещё остались мастера дореволюционной закваски и закуски, помнящие искусство сервировки и кулинарии. Не будем забывать и о другом: молодые писатели не жили в таком довольстве и сытости, чтобы снисходительно оценивать кремлёвскую кухню. Но вот приём закончился: «Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души. Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило».

А Ваншенкину пришлось самому выполнять эти «обязанности». На выходе он увидел Виктора Некрасова, потерявшего ориентацию. Виктор Платонович и в другие-то дни позволял себе выпить и вообще любил это дело. А тут съезд! Грех не отметить. Ваншенкин взял Некрасова под руку и довёл аж до гостиницы «Москва», заслужив благодарность уже на следующий день: «Низко тебе кланяюсь, — сказал он серьёзно и действительно поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошёл Василий Семёнович Гроссман. Спрашивает: “Кто это вёл вас вчера в Кремле?” Отвечаю: “Ваншенкин”. А он: “Я-то думал, охранник”. Дело в том, что на мне была длинная болгарская дублёнка, ничуть не являющаяся тогда модной или престижной вещью, — скорее наоборот».

У многих писателей смешались в душе одновременно и восторг, и ошеломление от того, что они, благодаря съезду, впервые очутились «в святая святых не только отдалённой, но и самоновейшей истории». Ибо для остальных советских людей Кремль после долгого перерыва (почти тридцать лет) открыли лишь в июне 1955 года, когда любой желающий мог попасть за его стены с 9 утра до 8 часов вечера. Так что делегатам съезда писателей была предоставлена в декабре 1954 года уникальная привилегия. И они её оценили. И даже тот факт, что вместо полагающихся на таких мероприятиях гардеробщиков одежду писателей принимали и выдавали в Большом Кремлёвском дворце простые солдатики (что отражало в какой-то мере пока ещё полувоенную обстановку в Кремле), не смутил делегатов, ибо многие из них лишь совсем недавно сняли гимнастёрки и сапоги.

Когда Ваншенкин пишет, что к съезду они уже «привыкли», он не иронизирует. Съезд продолжался долго, даже очень. Никогда позже советские писатели на столь длительный срок уже не собирались. Да и по числу участников — 738 человек — этот съезд остался рекордным в истории советской литературы. Оно и понятно: предыдущий съезд собирался два десятка лет тому назад. С той поры выросло новое поколение советских писателей, к которому и принадлежали Ваншенкин, Нагибин, Некрасов. Им не с чем было сравнивать...

А Первый съезд союза писателей, послуживший образцом для всех прочих творческих организаций, открылся в Москве 17 августа 1934 года в Доме Союзов. В съезде приняло участие 376 делегатов с решающим правом голоса и 215 с совещательным. Участников съезда задарили цветами и подарками, кормили в «Метрополе», бесплатно водили на Козловского и Лемешева в Большой театр, возили по Москве на такси. В большей степени это поразило делегатов из провинции, а вот Вениамин Каверин обратил внимание на другое — у входа в Дом Союзов и внутри у каждой двери стояли чекисты в форме, проверяли документы: «Их было слишком много, и кто-то из руководителей, очевидно, догадался, что малиновый околыш

как-то не вяжется с писательским съездом. На другой день билеты проверялись серьёзными мужчинами в плохо сидящих штатских костюмах» (из книги «Эпилог»). Очень символичное соседство, которое уже скоро самым печальным образом скажется на самих же писателях.

За двадцать лет много воды утекло — из почти шестисот участников Первого съезда было репрессировано более двухсот человек, т.е. одна треть. Немало писателей полегло на фронтах войны. В итоге из всех делегатов Первого съезда во Втором участвовало 123 человека. Среди уцелевших участников первого съезда был и Вениамин Каверин. Сравнивая Второй съезд с Первым, он уместно вспомнил строки Гавриила Державина: «Где стол был яств,/ Там гроб стоит...» Правда, сами советские писатели передавали из уст в уста другие строки: «От первого до второго — от Горького до Суркова», подразумевая, что основной доклад в 1934 году делал Максим Горький, а в 1954-м — Алексей Сурков. Фигуры в литературном мире несопоставимые. Но по рангу и занимаемым должностям Алексей Александрович Сурков Горького обогнал по всем статьям — Герой Соцтруда, лауреат двух сталинских премий, депутат Верховного Совета, первый секретарь СП СССР в 1953—1959 годах. В литературе он остался как автор одного из самых известных стихотворений о войне — «В землянке» — и как адресат стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», которое автор посвятил Суркову в 1941 году.

О Суркове, как и о многих писательских начальниках, остались разные отзывы. Припоминают ему активное участие в травле Бориса Пастернака, которое, судя по всему, не прошло для него бесследно. Василь Быков в своих воспоминаниях «Долгая дорога домой» рассказывал, как в составе писательской делегации, руководимой Сурковым, отправился в Рим. Обрато ехали они в поезде, ночью не спали, пока не допили всё купленное в вагоне-ресторане шампанское: «В соседнем купе Алексей Сурков, тоже в подпитии, скупко рассказал, как он в Брюсселе хотел покончить жизнь самоубийством: такие обязанности навешали на него в Москве, что за невыполнение их ему грозила Лубянка. История была связана с Пастернаком. Западная пресса обвинила Суркова в клевете на Нобелевского лауреата, и советское правительство инициировало судебный процесс, чтобы Сурков мог оправдаться. Но, кажется, из этого ничего не вышло». Своё мнение у друзей Суркова. Очень ценил его Константин Симонов.

На памятном заседании Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, где рассматривалось «дело» Александра Солженицына, Сурков обратился к нему с требованием: «Вы должны сказать: отмежёвываетесь ли вы от роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?» На что получил смелый ответ: «Алексей Александрович, ну уши вянут такое слышать — от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?» Сурков, наверное, сам не понял, что сморозил: из его слов следовало, что в СССР имелась политическая оппозиция! Откуда она взялась? Её ведь всю извели ещё в 1930-х годах. Об этом пишет Каверин, но это будет тринадцать лет спустя, а пока Вениамин Александрович, сидя в зале Большого Кремлёвского дворца, сравнивает Первый и Второй съезды: «Если в самых общих чертах сопоставить эти съезды, окажется: что на Первом (при всех отклонениях) речь шла всё-таки о “собственно литературе”, а на Втором — о её вторичном, агитационно-административном существовании».

И далее: «Вместо того, чтобы направить литературу по преуказанному пути, Союз писателей занялся развитием, разветвлением, укреплением самого себя, и это сразу же стало удаваться. Я был свидетелем, как он в течение десятилетий терял связь с литературой... Разрастаясь, размножаясь — с помощью элементарного почкования, он породил огромную “окололитературу” — сотни бездельников, делающих вид, что они управляют литературой. Между понятиями “писатель” и “член Союза” давным-давно образовалась пропасть».

Близкие по духу мысли обуревали и представителя более молодого писательского поколения Валентина Пикуля: «Отдельно существуют писатели, творящие литературу, и отдельно от них существует Союз писателей, нечто вроде бывшего корпуса жандармов, которые действуют по салтыково-щедринскому шаблону: “Ташши и не пушшай!” Конечно, эти людишки в сталинских френчах, десятками лет сидевшие наверху, держались не за литературу, а за своё место в президиуме, чтобы смотреть на всех сверху вниз, как барышня на сороконожку. Недаром же их называли “застрельщиками литературы”, как будто литература — это полигон, где испытываются на прочность писательские шкуры...» (впервые опубликовано вдовой писателя Антониной Пикуль в его биографии, вышедшей в серии «ЖЗЛ»).

Вениамин Александрович Каверин — признанный классик советской литературы, один из самых экранизированных писателей, один лишь его роман «Два капитана» дважды обретал кинематографическое воплощение. До войны он жил в Ленинграде, вторую половину жизни — в Москве, в Лаврушинском. Искренность Каверина, его желание сохранить человеческое достоинство и безжалостный взгляд на систему, которая складывалась на его глазах, создали ему авторитет куда более значительный, нежели звезда Героя Соцтруда, которую он так и не получил. Мстили ему изоощрённо — например, не включили его произведения в многотомную «Библиотеку мировой литературы для детей», ту, в которой каждый том имел свой цвет. Казалось бы — Каверина-то, с его «Двумя капитанами», замечательными сказками для детей! Но нет, кому-то перешёл дорогу. А на деле, кого только в этой серии нет. И какая это, позвольте заметить, «Библиотека...» в таком случае? Исповедью Каверина является его «Эпилог», написанный без надежды быть опубликованным, поражающий свежестью мыслей и смелостью воззрений. Что касается его оценки советских писателей, то вспоминаются слова Михаила Светлова, что «у нас не Союз писателей, а Союз членов Союза писателей».

Анну Ахматову делегировали на Второй съезд с правом решающего голоса. Выборы происходили в ленинградском отделении СП, некий чиновник из горисполкома высказался, что Ахматову надо послать в Москву «непременно», ибо «она большой патриот». Рассказывая об этом собрании, Анна Андреевна смеялась: «Мне кажется, я всегда была патриоткой, а не только теперь». На ленинградцев изменение отношения власти к поэтессе произвело неоднозначное впечатление: «Вчера обливают помоями, сегодня превозносят... Возмущает меня эта беспринципность несказанно. Как было с Шостаковичем; публично высекли и тут же послали в Америку», — отметила в дневнике 15 декабря 1954 года Любовь Шапорина. Появление Анны Андреевны вызвало большой интерес у делегатов из провинции, она позднее рассказывала Лидии Чуковской: «Ко мне подходили поэтессы всех народов. А я чувствовала себя такой пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: “Три карты, три карты, три карты”».

О сложившемся интересном пасьянсе размышлял и драматург Евгений Шварц, также присутствовавший на Втором съезде. Рядом со Шварцем сидел Корней Чуковский, литературным секретарём которого драматург был когда-то давно, ещё в довоенном Ленинграде. У них появилась прекрасная возможность вспомнить молодость. Шварц сочинил экспромт: «Фиалиал Чукоккалы № 14. Во Дворце 15 декабря. Не всякий Швец Попадает во дворец. Е.Шварц, б. секретарь К.Чуковского». Далее Шварц описывает начало съезда: «Огромный зал. Ровно в четыре появляется Костя Федин, седой, строгий, стройный. Он ведёт под ручку Ольгу Дмитриевну [Форш]. Она медлительно спускается по проходу к столу президиума. И не успеваешь она стать на своё место, как из дверей налево, противоположных тем, из которых вышли Федин и Форш, появляется президиум ЦК в полном составе. Зал стоя аплодирует. Президиум отвечает залу тем же».

Появление Хрущёва, Маленкова и всего Политбюро на открытии съезда писателей призвано было обозначить его важность в идеологическом плане, однако

у Александра Твардовского оно вызвало скепсис: «16 декабря. Что-то трогательное в присутствии руководителей партии и правительства на съезде: пришли — помочь вам иным образом не можем, а так — вот вам и Кремль, и все мы налицо» (из дневника). Пройдёт три года, и Хрущёв уподобит деятельность советских писателей дальнбойной артиллерии, «которая должна прокладывает путь пехоте. Писатели — это своего рода артиллеристы. Они расчищают путь для нашего движения вперёд, помогают нашей партии в коммунистическом воспитании трудящихся». Тут ещё важно, чтобы снаряды были не холостыми, ибо в этом случае они просто бесполезны: шуму много, а толку нет, — дополним мы Никиту Сергеевича. Кому-то его сравнение покажется грубоватым, но это на первый взгляд. На самом деле таким причудливым образом первый секретарь и «отец оттепели» выразил свою искреннюю предрасположенность и даже привязанность к литераторам, ибо художников, как известно, он обзовет нехорошим словом в 1962 году на выставке в Манеже. Уж лучше тогда быть артиллеристами...

Шварц продолжает: «Размахивая руками и глядя в рукопись, начинает Сурков свой трёхчасовой доклад... В шесть часов был объявлен перерыв, и самая загадочная и могущественная часть нашего президиума удалась и не вернулась больше. И я, утомлённый всеми происшествиями дня, стал постепенно засыпать под монотонные вопли помахивающего кулаками Суркова. И оглянувшись, увидел, что я не одинок... Вот у самого докладчика язык стал отказываться... Всё выше вздымает кулаки Сурков, всё ниже наклоняется к докладу, к его листкам и, наконец, — о счастье — провозглашает последние фразы. Аплодисменты...» Речь Суркова так «въелась» в атмосферу съезда, что её ещё долго вспоминали. Через два года Лидия Чуковская была свидетельницей уморительной сцены и описала в дневнике, как сатирик Виктор Ардов изображал выступление Суркова на съезде: «Я каталась со смеху; обоймы имён, причём каждая кончается рефреном: “И Мирзо Турсун-Задэ”». Этот рефрен с упоминанием классика советской таджикской литературы в шутку повторяли многие...

А Маргарита Алигер 17 декабря 1954 года сочинила такой стишок, оставшийся в «Чукоккале»:

На Втором, на Всесоюзном съезде
С Верой Инбер мы сидели вместе.
И доклад Суркова полной мерой
Мы хлебнули вместе с Инбер Верой.
Спать хотели, пить хотели вместе
На Втором на Всесоюзном съезде.
И в альбом Чуковскому Корнею
Написали это вместе с нею...

А тем временем стоявший на трибуне и машущий кулаками (то ли на писателей, то ли на опостылевший ему доклад) Алексей Сурков сыпал цифрами, словно на заседании Госплана. Общее количество членов Союза писателей СССР с 1934 года выросло почти в два с половиной раза, достигнув 3695 человек. В то же время объём произведённой советскими писателями продукции оставлял желать лучшего — темпы его прироста значительно отставали от довоенных. Число новых произведений, выпущенных членами Союза писателей, едва превысило 4500, что всего лишь в полтора раза превышало объём 1934 года. Отсюда следовал вывод: советские писатели работают недостаточно продуктивно, в отличие, например, от строителей и металлургов, постоянно перевыполняющих производственный план. Вот у кого надо поучиться писателям — у своего народа. Обмен опытом ещё никому не вредил.

Среди лучших произведений, созданных за отчётный период, на съезде были названы «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Пётр Первый» и другие романы советских классиков старшего поколения. Примечательно, что «экономический» подход к оценке творческого уровня литературных произведений

Максим Гуреев

Андрей Битов. Мираж сюжета

Главы из будущей книги

Сон Битова

Сны — репетиция ада.

Андрей Битов

Битов любил записывать свои сны, находя в перечислении причудливых событий и описании ведомых и в то же время неведомых персонажей недоступное наяву ощущение пространства, времени и среды, видение объема и цвета такими, какими они могут быть лишь внутри текста, который окружает писателя, нависает над ним девятым валом и грозит поглотить его, оставить на дне бескрайнего и бездонного океана, название которому — русский язык.

«Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он проснулся. Но, как ни силился, не мог вспомнить сна: забыл начисто. Душно было, вот что», — читаем в «Улетающем Монахове».

Не о духоте ли внутри текста идет речь?

Вполне возможно.

Или вот еще: «Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию, прямо около института, в ноябрьской Неве...» — обнаруживаем в «Пушкинском доме».

И тут же постигает разочарование, недоумение — а где же океан? ведь Нева никакая не бездна, но, с другой стороны, и не река, по утверждению ряда гидрологов, а то, что она может нависать, сливаясь с низким питерским небом, забираясь при этом не только за воротник, но и в душу, знают все, кто хоть раз посетил «вторую столицу» в *несезон*.

Угрожает.

Давит.

Грозит перстом Александрийского столпа.

Вынуждает сознаться в содеянном, и Битов не выдерживает, дает признательные показания самому себе: «Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом... Надо мной нависает текст, как питерское обложное, свинцовое небо. Надо мной нависает текст, как судьба. Значит, я боюсь текста».

Все правильно, и стыдиться тут нечего, потому как страх сей естественен, ведь писатель, он же сочинитель, рискует быть погребенным заживо, но он чаёт этого погребения, потому что не может без него жить, что для человека непосвященного кажется проявлением душевного нездоровья, является неразрешимым парадоксом, когда по доброй воле вход в подземелье автор сам заваливает огромным камнем, который, по словам Евангелиста, будет в урочный час отвален неведомо кем.

Утром 12 января 1997 года Битов записал свой сон:

«Будто я скачу верхом на белой лошадке по заснеженной Краснопрудной мимо своего дома в сторону вокзалов — будто сам же вижу себя из своего окошка...»

(«Померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым» — это цитата из «Похорон доктора», написанных еще в 70-х, видимо, сон повторяется, не отпускает, он не прожит окончательно.)

«Кто-то», видящий сам себя!

Из сна 1997 года становится ясно, что этот «кто-то» и есть автор (в книге слова «автор» и «сочинитель» — это он, Битов).

В «Фотографии Пушкина» (1985 г.) Битов уже наблюдал нечто подобное за собой: «Спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, все еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто все, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, все теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но так смазав белый лист дня, что-то, от спешки, пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки... Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст».

Сны, имеют свойство развеиваться, затуманиваться, растворяться во времени, которое в них течет иначе, нежели наяву. Стало быть, если не запишешь сновидение сразу, не остановишь ход призрачных событий хотя бы и на листе бумаги, не надейся, что утром следующего дня память сохранит их. Знание о том, что сновидение было, наличествует, а вот самого сна нет и в помине.

И тогда ничего не остается, как придумывать сновидение заново, домысливать его, строить предположения, как бы все могло произойти, но не произошло.

...Будто сам же вижу себя из своего окошка.

За окном мороз и солнце, день чудесный.

Сон, вроде, во всех смыслах хороший.

Чуть неясна степень загрязненности снега и лошадки (отнесем это на счет экологии), — приписал утром 12 января после безуспешной попытки вспомнить подробности Битов.

И всё.

Сон на этом закончился, и началась явь, которая никуда не делась. Она терпеливо дождалась, когда настанет пробуждение.

Итак, морозный зимний день.

По старой Стромьинской дороге в сторону Николаевского вокзала едет всадник.

Оказавшись в Красносельском урочище, которое он узнает по колокольне Покровского храма, что стоит на берегу Ольховецкого ручья, всадник замирает, он испытывает недоумение и даже страх, ведь раньше никогда не бывал в этой местности, но откуда-то знает ее, например, хорошо помнит эту построенную Осипом Ивановичем Бове церковь.

Такое довольно часто случается во сне: незнание обстоятельств не освобождает от узнавания образа и повторения действия, пусть даже и автоматического, интуитивного, на ощупь, но подсознательного повторения, согласно механической памяти, неведомо когда и для чего сохраненной.

А всадник меж тем подъезжает к храму, спешивается, привязывает лошадь к ограде и заходит внутрь, в тепло и полумрак, заполненный какими-то людьми. Тут совершается отпевание. Покойник — скорее всего, отец большого семейства, потому как у его гроба теснятся дети разных возрастов и женщины с заплаканными лицами, — возлежит величаво, даже надменно. Его закрытые глаза устремлены в закопченный свечным нагаром потолок, под которым собрались херувимы. Высокий худощавый священник поет «Со святыми упокой», голос его дрожит, а лица его не разглядеть, поскольку оно теряется в косматых клубах ладана, летающего, как вата, на сквозняке.

Приезжий встает поодаль, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим со стороны. Картина открывается, право, неприютная, горестная, безрадостная: лишь головы да затылки, платки да воротники, уши да заиндедевские окна, а еще висящий в левом приделе, как раз за гробом, образ Иоанна Предтечи, на котором пророк смотрит на свою же отрубленную голову, а палач-спекулятор занес над ним обоюдоострый меч.

Приезжий размышляет: выходит, что Иоанн Креститель видит себя уже после свершения над ним казни по приказу Ирода Антипы. Вот ведь как! Живого и мертвого пророка Предтечу Господня разделяет краткий миг, мгновение, вспышка, время, сжатое и одновременно растянутое, когда можно находить сновидение, находящееся внутри другого сновидения, бесконечным, длящимся целую жизнь.

Однако сон, если это не безвременная кончина, имеет свойство заканчиваться.

После того, как отпевание завершается, гроб закрывают, и все начинают выходить из церкви, стараясь не смотреть друг на друга, не оглядываться назад, чтобы не видеть, как священник прикладывает к образу Иоанна Крестителя, висящему справа от царских врат, дабы не испытать большую жалость ко Крестителю Господню, нежели к лежащему в гробу гордому мертвецу.

«Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня; посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается; устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивело жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня: поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался с кожей около зубов моих. Помилуйте меня, помилуйте меня, вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои!» — сказано в Книге праведного Иова.

Приезжий не понимает, о каких словах идет речь и можно ли их считать откровением или они и есть тот самый «непроходимый текст», который всякий раз является автору во сне.

— Кого хоронят, матушка? — спрашивает приезжий у проходящей мимо него женщины в кацавейке, крестообразно перепоясанной черным платком наподобие парамана.

— Сочинителя, батюшка мой, сочинителя, — отвечает она.

Значит, все сошлось, и сейчас, на глазах приезжего, отпели олицетворенный текст, некое повествование, участником которого невольно стал он сам, проезжая по Краснопрудной улице мимо бывшего дома Министерства путей сообщения 1956 года постройки, где из окна комнаты на четвертом этаже на него смотрел человек.

Кто был этот человек, и почему он стоял у окна в эту минуту?

Вероятно, это и был сочинитель (писатель Андрей Битов в нашем случае), который сообщил о себе в третьем лице следующее:

«Ночью он, как обычно, проснулся и, лежа на спине, разглядывал призрачный свет на потолке. Он, как всегда, думал, что до сих пор может понимать этот ответ, и радоваться ему, и ощущать таинство почти так же, как в детстве. Просто смешно, но даже сейчас, если не глядеть на пергаментную грудь и руки и не двигаться, то есть не чувствовать слабость, а так вот спокойно и прохладно лежать и смотреть в полотно, он мог представить себя ребенком. Когда одеяло почти не давит, и не жарко, и ты один, а на потолке тот же ответ, — это было точно то же ощущение, как в детстве. И если так смотреть на потолок, а потом закрыть глаза, он мог словно бы перемещать себя по комнате и поворачивать кровать: то он лежит головой к окну, то к двери... то он лежит лицом в комнату, то к стенке. А на самом деле он лежит и лежит себе на спине и не шевелится».

Вот, например, и усопший тоже лежит в гробу не шевелясь, а подходящие к нему люди страшатся этой неподвижности, не верят в нее, надеются на скорое его (мертвеца) пробуждение, название которому — Воскрешение мертвых.

Наш же сочинитель, лежа на спине и заложив руки за голову, незаметно для себя засыпает...

Продолжение воображаемого сна.

...Когда приезжий вышел из храма на улицу, уже стемнело.

Снег перестал, и сквозь образовавшуюся в облаках треугольную дыру Всевидящего Ока выглянула луна, осветившая пустой церковный двор и деревянный мост через Ольховецкий ручей.

Отвязал лошадь и стал выбирать на Стромьинскую дорогу.

Вспомнил, как однажды в детстве, когда он с матерью был в эвакуации, точно так же ночью брели они по лунной дороге, проложенной небесным прожектором. Сейчас уже и не скажет, куда они шли, выбиваясь из сил, по пояс в снегу, а луна своим бледным, мерцающим светом прокладывала им путь. Но потом произошло страшное: мать вдруг куда-то пропала, исчезла, бесследно выпав из сновидения, и он — будущий всадник, он же будущий сочинитель и автор, он же грядущий покойник — остался один. Вернее, один на один с собственной тенью, которая извивалась в такт его нелепым, беспомощным движениям, повторяла очертания снежных бесформенных истуканов, вытягивалась или, напротив, укорачивалась по мере движения луны по глухому, как крышка гроба, зимнему небосводу...

Разгулялся ветер между гигантских сталинских домов на Краснопрудной, и как только он поднялся-разошелся, поземка понесла по льдистому насту опилки и проволоку ветвей, лоскуты разошедшей коры и обрывки газет.

Заголосил вихорь.

Сощурил свои монгольские глаза так, что и не различить зрачков.

Интересно, что в романе «Пушкинский дом» Битов описывает ветер не как обезличенное движение воздушных масс и уж тем более не как некое мистическое явление, исходящее из заросших усами и бородой пересохших губ Тучегонителя-Тетраграмматона, но как живое существо, склонное к неистовству и припадкам, умилению и умиранию. У ветра может быть имя, например, Езра или Иов, Пётр или Георгий, Максимус или Ардалион, Андрей или Иоанн, Модест или Димитрий, Олег или Константин.

«На город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедшись к земле в касание... Ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город... описав таким образом нестеровскую петлю... Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы — несколько страниц прилипло к луже под окном...

Порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые, в это измочаленное и мертвое утро, одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе», — читаем в книге.

Потом закрываем книгу.

Сквозняком захлопнуло окно в комнате, оттого Битов и проснулся.

Открыл глаза и обнаружил себя лежащим на спине.

Занавески жили своей жизнью.

Тянуло холодом.

Все-таки пришлось встать и подойти к окну. Тут Битов облокотился на подоконник, закурил, а всадника было уже почти и не разглядеть, разве что на самом горизонте, где-то в районе Ленинградского вокзала маячила одинокая точка.

Точка как штрих, как матрица, как молекула, как корпускула (так бы сказал Ломоносов) пространства, из которых это самое пространство и состоит, из их бесчисленного множества. Если его (пространство) разъять, то каждый отдельно взятый эпизод даст толчок к новому повествованию, к новому тексту, который окажется внутри другого текста, как сон внутри сна, что и называется *лимбом*.

В «Божественной комедии» *лимбом* Данте называет первый круг ада, где пребывают добродетельные нехристиане, то есть, исходя из наших рассуждений, вымышленные герои, персонажи, которых нет, но которые существуют внутри реально написанного и даже изданного текста.

Святой Григорий Богослов замечает: «Иные не имеют возможности даже и принять дара (крещения) или по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств... они не будут у праведного Судии ни прославлены, ни наказаны; потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худы и больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий, недостойный наказания, достоин уже и чести; равно не всякий, не достойный чести, достоин уже наказания».

Это вопрос грани, рубежа, предела¹, перейдя который, сочинитель становится частью вымышленного мира, одной ногой ступая в ад, однако осознает это он лишь

¹ Limbus (*лат.*).

Александр Мелихов

Культовое трио, или Чего нам не хватало

Знаменитых писателей много, но крайне мало писателей культовых, которых читают с увлечением даже те, кто серьезных книг или вообще не читает или просто не считает чтение сколько-нибудь важным занятием. Такие читатели читают культовых писателей не ради суетных эстетических наслаждений, мало им доступных, а ради того, чтобы извлечь какие-то важные уроки для практической жизни, которая лишь одна их всерьез интересует. Из шестидесятих годов мне припоминаются три культовых писателя — Ремарк, Хемингуэй и Камю, которых я перечисляю по нарастанию их сложности и, как следствие, по убыванию популярности.

По крайней мере, в пору моей молодости.

В этом порядке и попробую наметить те качества этих прозаиков, которые вознесли их в ранг культовых.

Мир плохой, а мы хорошие

Заслуженно популярный в шестидесятих роман Симонова «Живые и мёртвые» начинается с того, что на жарком вокзальном пяточке в Симферополе Синцов и его жена Маша узнают о начале войны. И как они на это реагируют?

«Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд». Но и Маша, снедаемая страхом за оставшегося в Гродно ребенка, тоже стремится на войну. Никто их не агитирует, не запугивает — этот порыв их самое естественное движение. Потом начинаются очень хорошо изображенные военные мытарства Синцова, в которых, однако, почти не упоминается телесная сторона человеческого существования. Живые в романе почти не едят, разве что изредка погрызут что-то аскетическое, они не отправляют физиологические надобности, они не занимаются сексом, может, где-то за кадром, а мертвые никогда не изображаются так, чтобы это вызвало ужас и отвращение.

Зато главных героев, несмотря на все кошмары отступления, не покидает вера в победу: «Все, что видели его глаза, казалось, говорило: нет, не переломим! Но душа его не могла смириться с этим, она верила в другое! И хотя он вправе был верить своим глазам, вера его души была сильнее всех очевидностей. Он не пережил бы тех дней без этой веры, с которой незаметно для себя, как и миллионы других военных и невоенных людей, втянулся в четырехлетнюю войну».

Другая книга из советского военного канона — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — начинается буднично: «Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно. Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ — вторые рубежи, ремонт дорог, мостики. Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба. Утром звонили из штаба дивизии — приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски. Что может быть спокойнее?»

Далее отступление изображается в стилистике крепкого очерка, в котором едой увлекается только противный помощник по тылу. Он предлагает даже водки, а когда положительные герои отказываются, ничуть не смущается: «Напрасно. Водка хорошая. И закусить есть чем, дополнительный паек не успели раздать. Масло, печенье, консервы рыбные». Он «отхлебывает из фляжки, закусывает маслом, просто так, без хлеба.

— Мировая закуска. Никогда не опьянеешь. Обволакивает стенки желудка».

Его гурманство вызывает не зависть, а желание дать ему по морде.

И снова у живых нет физиологических отпавлений (секса тоже нет), а у мертвых нет отталкивающих травм.

В романтической «Звезде» Эммануила Казакевича в центре повествования юный Травкин — прекрасный рыцарь без страха и упрека, и, за исключением единственного труса, он всех видит почти такими же паладинами победы.

«Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти, наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле, — так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга “земляками”, ибо они были из одной страны, — страны верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь».

«Младший лейтенант Мещерский — стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского».

«Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении. Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга».

И дело настолько их захватывает, что они забывают о себе.

«Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем “Викинг” обречена на гибель».

У положительных героев снова нет физиологии, нет сексуальных фантазий, а едой озабочен только жуликоватый Мамочкин. Он сдает напрокат двух незаконно удержанных лошадей и за это получает возможность угощать товарищей роскошной провизией. Однако за такое мошенничество Травкин грозит отправить Мамочкина в штрафбат, да и в тылу его уже разыскивает следователь.

А как начинается прогремевший у нас когда-то роман Ремарка «На Западном фронте без перемен»? (Отлично помню его в растрепанной мягкой обложке.)

«Мы стоим в девяти километрах от передовой. Вчера нас сменили; сейчас наши

желудки набиты фасолью с мясом, и все мы ходим сытые и довольные. Даже на ужин каждому досталось по полному котелку; сверх того мы получаем двойную порцию хлеба и колбасы, — словом, живем неплохо. Такого с нами давненько уже не случалось: наш кухонный бог со своей багровой, как помидор, лысиной сам предлагает нам поесть еще; он машет черпаком, зазывая проходящих, и отваливает им здоровенные порции. Он все никак не опорожнит свой “пищемёт”, и это приводит его в отчаяние. Тьяден и Мюллер раздобыли откуда-то несколько тазов и наполнили их до краев — про запас. Тьяден сделал это из обжорства, Мюллер — из осторожности. Куда девается все, что съедает Тьяден, — для всех нас загадка. Он все равно остается тощим, как селедка.

Но самое главное — курево тоже было выдано двойными порциями. На каждого по десять сигар, двадцать сигарет и по две плитки жевательного табаку. В общем, довольно прилично. На свой табак я выменял у Катчинского его сигареты, итого у меня теперь сорок штук. Один день протянуть можно.

А ведь, собственно говоря, все это нам вовсе не положено. На такую щедрость начальство не способно. Нам просто повезло».

И в чем же заключалось везение? Продовольствия было выдано на роту в сто пятьдесят человек, а в живых осталось только восемьдесят.

Что еще волнует бойцов?

Леер «носит окладистую бороду и питает слабость к девицам из публичных домов для офицеров; он божится, что есть приказ по армии, обязывающий этих девиц носить шелковое белье, а перед приемом посетителей в чине капитана и выше — брать ванну».

А какими доблестями обладает душа отделения Станислав Катчинский, Кат? У него «необыкновенный нюх насчет того, когда начнется обстрел, где можно разжиться съестным и как лучше всего укрыться от начальства».

А как фронтовые герои проводят тыловой досуг? Они сдвигают поближе сортирные кабинки и со спущенными штанами по два часа играют в карты.

«Я до сих пор помню, как стеснялись мы на первых порах, когда новобранцами жили в казармах и нам впервые пришлось пользоваться общей уборной. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядком, как в трамвае. Их можно окинуть одним взглядом, — ведь солдат всегда должен быть под наблюдением.

С тех пор мы научились преодолевать не только свою стыдливость, но и многое другое. Со временем мы привыкли еще и не к таким вещам.

Здесь, на свежем воздухе, это занятие доставляет нам истинное наслаждение. Не знаю, почему мы раньше стеснялись говорить об этих отправлениях, — ведь они так же естественны, как еда и питье. Быть может, о них и не стоило бы особенно распространяться, если бы они не играли в нашей жизни столь существенную роль и если их естественность не была бы для нас в новинку, — именно для нас, потому что для других она всегда была очевидной истиной.

Для солдата желудок и пищеварение составляют особую сферу, которая ему ближе, чем всем остальным людям. Его словарный запас на три четверти заимствован из этой сферы, и именно здесь солдат находит те краски, с помощью которых он умеет так сочно и самобытно выразить и величайшую радость, и глубочайшее возмущение. Ни на каком другом наречии нельзя выразиться более кратко и ясно».

Друзья навещают в госпитале умирающего школьного товарища Кеммериха — «полевой лазарет переполнен; здесь, как всегда, пахнет карболкой, гноем и потом», а пока Кеммерих был без сознания, у него украли часы.

Боевой друг просит Кеммериха отдать ему хорошие английские ботинки, но Кеммерих, еще не знает, что у него ампутирована нога.

Их называют железной молодежью, вчерашних школьников, но «сейчас мы старики».

«Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми, — и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало».

Сборный пункт

Заочный «круглый стол»

Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса как никогда важно ощущать родство, в том числе эстетическое, вырабатывать и сохранять точки культурной сборки.

Обычно «родословную» авторов (и их героев) пытаются выстроить биографы и рецензенты. Нам было интересно свидетельство из первых рук: самоощущение, самоопределение писателей. Мы предложили прозаикам, поэтам, критикам — старшим и младшим современникам — ответить на три вопроса:

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Мариш АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ефима БЕРШИНА, Константина КОМАРОВА, Владимира МЕДВЕДЕВА, Сергея СОЛОУХА, Александра ЧАНЦЕВА.

Евгений Абдуллаев, прозаик, поэт, литературный критик (г. Ташкент)

«Существовать — значит быть оспариваемым»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Наследую?.. Наверное, всем — и никому в отдельности. Всей русской литературе, всему русскому языку в его вибрирующем многообразии... Может, и каким-то другим языкам — например, английскому, который учу с детства, или узбекскому, в котором с детства существую. Так что наследую, скорее, некому хору, его то стройному, то диссонансному звучанию, нежели каким-то отдельным голосам.

Есть, конечно, какие-то очень важные для меня имена и голоса. Скажем, Пушкин. Шекспир. Достоевский. Манделштам. Но могу ли я сказать, что наследую им? Да, в той мере, в какой они живо и ярко присутствуют в моем сознании и сознании других пишущих людей. Как-то иначе наследовать им невозможно, они ничего не оставляли «в наследство», они растрачивали себя вполную, и если в чем-то можно им наследовать, то именно в этой небрежности, в умении полностью исчерпать все рудные жилы.

Наконец, есть те, кого я встретил, входя в литературу. Кого я мог бы в какой-то мере назвать своими учителями — хотя ни к кому специально не «ходил» и не «показывал». И вообще очень многому научился у сверстников, некоторые из которых были годами даже младше меня, но уже успели набраться литературного опыта (я ведь был «позднячком»). Санджар Янышев, Вадим Муратханов, позже Глеб Шульпяков, Инга Кузнецова, Дмитрий Тонконогов, Максим Амелин, Илья Кукулин... Но были, конечно, имена и старше: Алексей Алёхин, Анатолий Найман, Андрей Волос, Сергей Чупринин... Напротив, есть те, кто младше меня, но общение с которыми, чтение которых тоже ощущаю как очень полезное, нужное, как какое-то внутреннее обновление крови. Валерий Печейкин, Борис Кутенков, Аман Рахметов...

Понятно, что тут какие-то иные, нелинейные, нежесткие связи, которые не предполагают никакого «наследования». Скорее, это то, что Бродский определял как получение каких-то знаний и опыта *by osmosis*, путем впитывания. Мне кажется, что так обычно и происходит литературный обмен веществ, а всякая претензия на наследование чего-то или кому-то — это, как правило, случай рефлексивной слепоты и филологического рукоделия.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Просто радуюсь читателю. Да, иногда возникает ощущение, что информационная среда и сам процесс чтения за последние лет пятнадцать так радикально изменились. И что молодые читатели... Да, просто проедут на своих скейтбордах мимо. Что наша боль им будет неинтересна.

Потом, конечно, замечаю: читают, как-то по-своему понимают, моих сверстников (которые сейчас входят в пору золотой осени), меня... И когда спорят, это даже больше радует. Значит, мы существуем, и пока еще достаточно ярко. Существовать — значит быть оспариваемым.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Поколение — вещь очень пёстрая, чтобы говорить о каких-то общих чертах; особенно когда находишься внутри него. Если говорить о моем поколении — а это авторы, родившиеся в конце 60-х — начале 70-х, а сегодня это наиболее... как бы сказать, чтобы не похвалить случайно себя? Скажем так, нейтрально: сегодня это очень активное, возможно, даже наиболее активное поколение. Это поколение с несколько отложенным приходом в литературу. Дебютный возраст пришелся аккурат на 90-е, когда дебют был возможен... ну, в виде какой-нибудь самиздатовской книжки в лучшем случае. Вся прежняя литературная среда порушена, журналы в основном печатают прежних своих авторов плюс «возвращенку», для каких-то новых имен почти нет места...

Это было, как сейчас понимаю, для нас очень хорошо. Нас «выдержали». Нас никто не ждал, никто не баловал никакими «Дебютами» и «Лицеями», не звал ни на какие «Липки». Этот слой тишины и невнимания, через который мы как-то протырились; это очень закалило. Мы шли без всяких надежд. И это отличает нас и от более старшего поколения, успевшего дебютировать еще при Союзе с его тиражами, — от, условно говоря, Пелевина, Быкова, Терехова... С другой стороны — и от более младших, опять же, условно, Самсонова, Прилепина, Сальникова... Они пришли в литературу, когда уже что-то было восстановлено, возникли более благоприятные условия для дебюта. Нет, речь не о том, что нашему поколению было тяжелее, — у каждого поколения свои трудности. Но если говорить о начале, о старте — то да, именно у тех, кто начинал в середине 90-х, было ощущение «старта в никуда».

Это, пожалуй, единственное общее; дальше уже различия. Авторы, как это и должно быть внутри поколения, очень разные. Стилистически это могла быть и метафорическая избыточность раннего Иличевского, и суховато-репортажная

документальность Сенчина, и затейливый минимализм Данилова, и красочный не-минимализм Степновой... На этом многоточии разговор о поколении пока закрою.

Что до будущего, то об этом говорить всегда сложно, а сейчас, когда в литературе идет гражданская война, особенно. Произошла очень сильная, болезненная встряска, и что из этого выйдет... Еще недавно вариантом будущего для современной русской литературы было интегрирование в международный литературный процесс, со всеми издержками, но и плюсами тоже. Сегодня этот вариант не то чтобы совсем исчез, но сузился до, условно говоря, Китая, Индии и стран третьего мира. И это еще не так плохо. Хуже вариант автаркии, которого не было даже у советской литературы, довольно активно переводившейся на европейские языки... Так что разговоры о будущем пока предлагаю отложить на будущее.

Мария Ануфриева, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Доктор Х», Фёдор Михайлович и «метода Флобера»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Разумеется, у меня, как у каждого человека, не обязательно пишущего, есть свои предпочтения, любимые и близкие по духу авторы, но говорить об этом в контексте «наследования» кажется как минимум не совсем скромным. Например, Достоевского открыла для себя в юные школьные годы, прочитав роман «Подросток».захотелось мне писать прямо как Фёдор Михайлович. Смешно же, правда? Достоевский с тех пор стал одним из моих любимых авторов, но вряд ли я «право имею» говорить о том, что наследую. Или вот нравится мне фраза Флобера: «Мадам Бовари — это я». Попробовала взять ее на вооружение, когда писала свой текст. Так, в каждом герое романа «Доктор Х и его дети» есть присущие мне черты характера или привычки, вредные либо безобидные. Даже отрицательные персонажи стали мне ближе, потому что и они — это я. Очевидно, этот подход сработал, недавно по книге сняли художественный фильм с известным актером Сергеем Пускепалисом в главной роли, его оппонента, плохого человека сыграл еще один прекрасный актер Игорь Черневич. Я присутствовала на съемках, видела отснятый материал, который сейчас в производстве. Герой, которого играет Черневич, очень убедителен в кадре. Хочется верить, что, помимо безусловного актерского таланта, свою лепту в этот образ внесла и «метода Флобера». Но, повторюсь, мне не близки рассуждения в духе: «Я и мировая литература».

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

До недавнего времени я не оценивала людей по идеологическому принципу, не ограничивала общения, если взгляды были мне не близки. Старалась не замечать, искала что-то хорошее. Сейчас, когда ситуация изменилась и не замечать значит — потакать, я волевым решением убрала из поля видимости тех, кто мне неприятен по разным причинам, далеко не всегда идеологическим, поэтому что именно «оппоненты» читают и читают ли что-то вообще, кроме газетных передовиц, мне не интересно. Собственно, даже оппонентов у меня нет, ведь их наличие предполагает спор или дискуссию, а я их ни с кем не веду.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Хотелось бы порассуждать о некоем особом «копирайте» авторов моего поколения 40+ или более молодых ребят, тем более в последнее время я читаю действительно

много прозаических текстов и для семинаров Ассоциации союзов писателей и издателей, и для региональных школ, и форума «Липки». Увы, вряд ли могу сообщить что-то новое. Боюсь, что нет его, этого «копирайта», если вы имеете в виду некую характерную именно для нынешнего поколения молодых авторов систему символов, художественные находки и так далее. Конечно, встречаются в этой разноголосице интересные, сильные тексты, когда авторская зрелость не вызывает сомнений, и участник того или иного семинара сам может сесть на место ведущего. Каждый раз я радуюсь, когда открываю для себя новые имена. Например, сейчас это проза Георгия Панкратова и Егора Куликова, с которой я познакомилась как раз при отборе текстов на одном из конкурсов. Георгий Панкратов уже состоявшийся автор, публиковался и в «Дружбе народов». Один из его новых рассказов выбил меня из колеи на целый рабочий день, даже отправила его сыну-подростку с просьбой прочитать. Может быть, «ДН» его и напечатает первой. Егор Куликов написал простой, но очень трогательный рассказ «Трудяга» про любовь... кого бы вы думали? Человека к трактору, а трактора к человеку. Звучит наивно, в духе соцреализма. Но нет, написано так классно, и трактор этот одушевлен с таким мастерством и любовью, что стоит поучиться тому, как автор вкладывает в текст душу.

Мы не можем знать, что сохранится в будущем, но, на мой взгляд, работают на него — и особенно сейчас — истории, написанные с любовью к людям, состраданием к тому самому «маленькому человеку», которым славится русская классика, болью за униженных и оскорбленных несправедливостью, пониманием ценности жизни. Так было, есть, и хочется верить, что будет.

Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)

Об учителях и внутренних собеседниках

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Ох. Если бы я была или хотя бы считала себя писателем (я, как известно, «дикорастущий вольнорассуждатель», занимающийся, помимо критической и журналистской практики, дикописью и празднописью), я бы дерзнула сказать, что — в смысле внутренних, к себе самой обращённых монологов, пометок на полях всего, фрагментарного аналитизма и аналитичной фрагментарности, предпочтения эссеистики и микроэссеистики, дневника как Бесконечного Текста, вообще «промежуточных» текстов всяким иным форматам высказывания наследую Марку Аврелию, Мишелю Монтеню, Эмилю Мишелю Чорану, Василию Розанову, Фернанду Пессоа («Книге непокоя»), Филиппу Жакоте, Иву Бонфуа, Лидии Гинзбург, а из ныне здравствующих — Михаилу Эпштейну. Уже одно перечисление этих имён даёт мне ясно видеть полное своё ничтожество перед их лицом, поэтому назову их просто своими учителями и внутренними собеседниками.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Конечно. И читателей, и понимающих собеседников, и соратников, и наследников — если бы я была достойна наследования. (Оппонентов — не знаю, — никто со мной вроде бы явно не спорил, кроме разве Максима Алпатова лет шесть назад, но он, кажется, ненамного моложе — хотя моложе точно.) Из братьев по эссеизму, кто младше на поколение — от двадцати лет и далее — я бы назвала Алексея Чипигу, из молодых совсем — Елизавету Трофимову, Марка Перельмана, Александра Хана. Не в том смысле, что они знают меня (некоторые знают), — скорее, в смысле родства в мировосприятии.

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Мои сверстники — родившиеся в середине-конце шестидесятых (первыми идут на ум ныне здравствующие Игорь Вишневецкий, Александра Петрова, Лена Элтанг, Валерий Шубинский, Александр Скидан, Сергей Круглов, Илья Семенов-Басин, Арсений Ровинский, Дмитрий Бавильский; покойные Василий Кондратьев и Денис Новиков. Можно дерзнуть добавить и Сергея Шестакова, — он родился раньше, в 1962-м, но очень родствен, поэтому пусть будет в этом ряду. Перед всеми названными, братьями по времени взросления, я тоже могу только умяться). Из важных черт, которые кажутся мне именно поколенческими, я бы непременно забрала в будущее деятельную тоску по мировой культуре.

Ефим Бершин, поэт (г. Москва)

«Ну какие могут быть оппоненты в поэзии?..»

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)*

«Во времена жестких разрывов, отмены, выстраивания железного занавеса ты одна мне надежда и опора. Я говорю о поэзии. Когда я публикую стихи в журнале или, например, в Интернете, в своем блоге, меня больше всего радует то, что на них откликаются люди разных политических убеждений из разных стран. На это и надежда — на поэзию. Поэзия способна объединять. Она сама по себе является наследницей и продолжательницей великой русской поэзии. То есть поэзия наследует поэзии.

Если говорить лично обо мне, то мне трудно сказать, кому из поэтов наследую. Хочется назвать Лермонтова, но, боюсь, это будет нескромно. Скорее, с определенного возраста — уже никому. Потому что поэзия для меня — это не наследование кому-то и чему-то. Поэзия для меня — это метод познания мира.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Если говорить о читателях, то они у меня есть. Не так много, как хотелось бы, но есть. Самые разные. Разных возрастов и, как я уже сказал, разных убеждений. Но в наше странное переходное время их и не может быть много. А что касается того, узнаю ли я среди них «своих» — нет, не узнаю. Для меня это не так важно. Все, кто любит и старается понять мои стихи, — мои люди. И простите за некоторую высокопарность, но у настоящей поэзии нет возраста, нет поколений, как нет их и у Бога. А стихи на злободневные темы я не пишу. Познание мира через поэзию не ограничивается временными рамками. О наследовании я уже сказал, а об оппонентах... Ну какие могут быть оппоненты в поэзии? Понимаю, что сейчас политизируется все, включая рецепт изготовления борща. Но настоящая поэзия политикой не живет, хотя некоторые и пытаются даже Пушкина, Лермонтова, Бродского привязать к современной политике. Поэзия растет из совсем другого «сора».

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Что же касается будущего, то не нам судить, какие стихи в нем останутся, а какие нет. Человек живет слишком мало, чтобы увидеть, к примеру, через сто лет, что осталось, а что погребено временем. Мы знаем немало очень популярных в свое время поэтов, от которых почти и следа не осталось. Кто сегодня поверит, что молодой Веневитинов в определенный момент был чуть ли не популярнее Пушкина? И куда делся популярный Надсон? А Эдуард Асадов? Помню, как в семидесятых толпы валили

на его выступления. А вот Слуцкий из того же поколения — остался. И Левитанский пока остается. А про сверстников говорить вообще рано.

Поэты моего поколения, которым сейчас под семьдесят или даже больше, начали проявляться со второй половины семидесятых или уже в восьмидесятые, в перестроечные времена. Некоторых из них сегодня знают лучше, некоторых хуже, некоторые вообще пропали с горизонта. Они были разные, но всех или почти всех объединяло одно: бунт против советской этики и эстетики. Они и именно они во многом олицетворяют собой то время. Хотя мне кажется, что большинство из них так в том времени и остались и в новые времена не прорвались. Перманентный бунт стал почти религией. Начав бунтовать против этики и эстетики того времени, многие остановиться уже не могут. А поэзия — это если и бунт, то совсем иного рода. Пожалуй, стоит вспомнить Сашу Сопровского, который успел написать книгу об Иове. Это был своеобразный прорыв в будущее. Бунтовщик Иов понял правоту Бога. И смирился с тем, что главная функция Творца — творчество, а не что-то иное. Саша, кажется, тоже понял. Переломная эпоха 80-х — 90-х годов в истории, конечно, останется. Но останутся ли в истории поэты этой эпохи, не знаю. Не дано знать.

К сожалению, именно на будущее сегодня мало кто работает. Единицы. Но даже среди этих единиц гениев я пока не вижу. Возможно, я субъективен, что простительно для поэта. Возможно, я не очень хорошо знаю стихи более молодых поэтов. Возможно, сейчас никто понять не может, что будет в новом нарождающемся мире. Однако же просто выражу надежду на то, что для будущего останутся самые настоящие, самые истинные, стихи которых времени не будут подвластны. А сама поэзия, конечно, бессмертна. Как сам Господь.

Константин Комаров, поэт, литературный критик (г. Липецк) **«Я бы назвал своё поколение “растерянным”»**

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Мне хотелось бы верить, что я наследую не какому-то конкретному поэту (в этом случае наследование опасно приближается к подражанию, а подражать, например, моему любимому Маяковскому сродни моментальному творческому самоубийству), а в целом — модернистскому духу поэзии Серебряного века. То, что я пытаюсь делать в поэзии, можно назвать неомодернизмом (близкое, но не тождественное метамодернизму понятие). Модернистское миропонимание близко мне тем, что не отказывается от поиска ответов на «последние», «предельные», «вечные», «проклятые» вопросы человеческого бытия (что роднит модернизм с классикой и противопоставляет постмодерну), но ответы эти ищет не в эмпирической действительности (как классический реализм), а в глубинах микрокосма человеческого «я», кардинально обновляя при этом сам инструментарий поиска. Мне очень близка житнетворческая, романтическая по сути, философия модернизма, базирующаяся на максиме, озвученной ещё Батюшковым: «Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!» В своей поэтической практике я стараюсь работать и с символистским интуитивным постижением неназываемого, и с акмеистской «прекрасной ясностью», лирической вещностью, и с футуристской отелесненной экспрессией. К модернизму добавлю ещё поэтов-метареалистов (Парщиков, Жданов и особенно — Ерёмченко), чей опыт создания сложной, многосуставной и многослойной метафорики крайне мне импонирует, Леонида Губанова с его мощнейшей стихией лирического монолога и термоядерной внутренней концентрации метафизическую лирику Юрия Казарина.

Что касается литературы мировой, то здесь кому-то наследовать сложно уже хотя бы потому, что и читаю, и пишу стихи я на русском языке. Здесь можно говорить разве

что об опосредованном тем же Серебряным веком наследовании французским символистам.

Впрочем, в статье обо мне в Энциклопедии «Уральская поэтическая школа»¹ в разделе «основные имена, влияния переключки» дан вполне конкретный список важных для моей поэтики фамилий: А.Блок, И.Бродский, Л.Губанов, Б.Рыжий. И таковой список тоже имеет место, хотя он и неполон. Вообще, поэтов, драгоценных для читательского сердца, у меня (как, наверное, у многих) несравнимо больше, чем тех, кто непосредственно повлиял на складывание моего поэтического мира.

В сфере литературной критики определяющие для меня фигуры — Белинский, Чуковский, Розанов, Аполлон Григорьев, Игорь Шайтанов и др.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

Узнаю. «Оппонентов» (которые, в некотором роде, тоже «наследники», только «от противного») — чаще. Есть целая (и довольно многочисленная) группа молодых поэтов, изо всех сил стремящихся подменить поэтическое политическим (если б они понимали, сколь убого, натужно и комично их потуги выглядят со стороны, но — увы...), для которых я и мои критические высказывания являются неиссякаемым источником упреждений в крайне сомнительного пошиба остроумии. Ну, чем бы дети ни тешились, лишь бы не плакали. Узнавание «наследников» происходит значительно реже (частым оно быть и не может, просто по факту), зато гораздо отраднее душе. Последним по времени таким «узнаванием» для меня стал двадцатилетний архангельский поэт Алексей Черников. Насыщенность, плотность, напряжённость его поэтической работы меня неизмеримо радуют. Есть на кого оставить дело, хоть я и сам надеюсь ещё пошуршать.

Мне представляется, что нынче такое время, когда своего читателя надо знать в лицо. Невозможность кардинального изменения этой ситуации побуждает относиться к ней как к норме. А в применении к поэзии, которая всегда (за исключением стадионных 1960-х, но причины тому — экстралитературные) была прерогативой небольшого круга людей и искусством, в хорошем смысле, элитарным — пожалуй, и является нормой. Поэзия — удел поэтов, поэты читают поэтов и пишут о поэтах — хорошо это или плохо, но это так.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Дискретное и разношёрстное поколение «тридцатилетних», к которому я принадлежу, объединяет, на мой взгляд, растерянность с оттенком инфантилизма (по аналогии с «потерянным» я бы назвал своё поколение «растерянным»), а различают — способы поэтической фиксации, воплощения и преодоления этой растерянности. Кажется (могу ошибаться), что и «сорокалетние», и «двадцатилетние» твёрже стоят на ногах, ментально устойчивей. Наверное, при желании можно найти (и находят) и другие точки схождения, но у меня такого желания нет по объективной и субъективной причине. Объективная: в лирическом высказывании определяющую роль играют «интимно-личностный» и «универсально-общечеловеческий» компоненты (в их парадоксальном единстве Лидия Гинзбург видела специфику самой природы лирики), поколенческий же компонент для лирического говорения как такового не особенно значим. Субъективная (связанная с объективной): как поэт я свою поколенческую принадлежность ощущаю слабо, собственно, для моего поэтического творчества она серьёзной роли не играет (для литературно-критической моей деятельности, наверное, более значима, хотя из критиков-ровесников мне трудно кого-то выделить). Особой трагедии в этом ни для себя, ни тем более для поколения — не вижу. Думается, что в будущее (и в бессмертие как бесконечно пролонгированный его вариант) поэты должны входить поодиночке, со своим «я». Чтобы убедиться в справедливости этой мысли, достаточно освежить в памяти хотя бы предсмертную поэму Маяковского «Во весь голос».

¹ <https://www.marginaly.ru/html/Vsjachina/Enciklopedija/summary/komarov.pdf>

Владимир Медведев, прозаик (г. Москва)

«Криптографы связывают прошлое с будущим»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Роскошный глагол «наследуете» скроен и сшит не на меня. Мне бы что-нибудь поскромнее. Я не наследую, а нахожусь в энергетическом поле того направления, которое связываю прежде всего с именами Гоголя, Достоевского, Фолкнера.

Попал я в этот поток, во-первых, не сразу, а во-вторых, не намеренно. Это произошло естественно, само собой. Тяга к чтению историй, в которых сквозь обычные события «реалистического» повествования просвечивают иные, более тонкие планы, была у меня с детства. Однако она никак не сказалась на первых попытках написать что-нибудь свое. В юности я сочинял рассказы из быта геологических отрядов, позже написал (стыдно вспомнить) научно-фантастическую повесть, несколько незаконченных детективов... И наконец в более чем зрелом возрасте опубликовал книгу рассказов, в которых действовала выдуманная нечистая сила. Я попытался сконструировать аутентичную «фольклорную» нечисть — липуна, кувыку, озерного, — которой нет и никогда не было в русском фольклоре. Главной моей задачей была их неотличимость от персонажей народного бестиария. Говоря по-простому, я напросился (а лучше сказать — навязался) в соавторы к неведомым творцам-зачинателям древнего устного творчества. Зачем? Вряд ли я мог тогда объяснить.

Моему отцу книга очень не понравилась. Долгое время он неодобрительно хмурился, пока не нашел для меня оправдание: «Это у тебя, выходит, что-то вроде “Вечеров на хуторе близ Диканьки”?» Отец чрезвычайно высоко ценил Гоголя, и теперь, много лет спустя, понимаю, что могу счесть этот его отзыв о моей книге похвалой. Значит, я действительно попал в поток, раз это увидел пристрастный, очень строгий наблюдатель со стороны.

Прошу понять меня правильно: я не ровнял и не ровняю себя с титанами, а лишь бессознательно следовал курсу, единственно для меня верному, просто в силу... как бы это сказать... характеристических особенностей, а потом нашел для него сознательное обоснование.

Начну с самого начала. Однажды много лет назад мне вдруг почему-то вспомнилось, как в «Преступлении и наказании» Раскольников на похоронах Катерины Ивановны стоит у стены, скрестив на груди руки, смертельно бледный, и меня осенило: да это же мертвец! Бросился я перечитывать роман, и оказалось, что образ покойника — не просто одноразовая метафора, а одна из несущих опор всего каркаса книги. Слова с корнем «мерть» встречаются в тексте тридцать семь раз. «Притих как мертвый», «поворотил в него [переулок] как полумертвый», «он стоял как мертвый», «побледнел как мертвец», «обернул к ней мертво-бледное лицо»...

Общеизвестно, какое важное место занимает в романе рассказ об ожившем покойнике — притча о Лазаре из Евангелия от Иоанна. Ее обсуждают, читают вслух, символика притчи пронизывает текст романа. Но никто до меня, по-видимому, не заметил, что автор уподобил Лазарю и главного героя. Мысль изобразить Раскольникова мертвецом возникла у Достоевского не сразу. Судя по черновикам, он решил уподобить своего героя загнанному зверю. И вот в какой-то момент образ меняется — теперь это мертвец, которому предстоит воскреснуть.

Линия воскресающего покойника составляет лишь один из многих архетипических слоев романа, погружающих читателя в атмосферу архаических славянских верований. Сквозь библейскую символику, сквозь притчу о русском Лазаре XIX столетия, просвечивает какое-то другое изображение, гораздо более древнее, смутно знакомое. Это изгой. Нарушитель запретов, изгнанный из человеческого сообщества и тем

обреченный на гибель. Но и это не последний слой. Впрочем, тех, кого заинтересует эта тема, отсылаю к моей статье «Как тяжело мертвецу среди людей», опубликованной в «Дружбе народов» в 10-м номере за 1993 год.

Впоследствии я обнаружил, что кроме «Преступления и наказания» имеется немало произведений, в которых сквозь обычные события «реалистического» повествования просвечивают иные, более тонкие планы. Такие книги я назвал «криптографами» (название тяжеловесное, а потому не слишком удачное, но другого не нашел). Как известно, криптография или тайнопись — способ письма, при котором поверх видимого текста вписывается симпатическими чернилами (железным купоросом, молоком, мочой, уксусом и много ещё чем) невидимое, тайное послание. Надо лишь знать, чем обработать страницу, чтобы проступило невидимое.

Видимый и невидимый тексты криптографов предназначены для разных читателей: явный слой обращен к нашему сознанию, скрытый, архетипический — к Бессознательному. Подсказкой, позволяющей лучше понять, что имеется в виду, может послужить общеизвестный литературный термин «подтекст». Криптографы — это произведения с подтекстом, содержанием которого являются архетипы. Если вернуться к проблеме *наследования*, поставленной журналом, такие книги устанавливают связь современности с людскими предками, жившими в глубочайшей древности, далеко за пределами не только литературы, но и письменной истории. Вопрос, нужна ли эта связь человеку двадцать первого века, обсуждать не стану.

У меня нет сомнений в том, что Достоевский писал криптографический роман совершенно сознательно. По черновым материалам видно, как скрупулезно и последовательно он вписывал эпитеты и метафоры, отражающие различные фазы умирания и возвращение к жизни Раскольникова на протяжении всего сочинения. Известно также, что Фёдор Михайлович был хорошо знаком с литературой по фольклору и народным верованиям. Думаю, однако, что он был первым из писателей, кто намеренно прибег к архетипической тайнописи. До середины прошлого века авторами криптографов руководили исключительно творческая интуиция и личные пристрастия. А все прочие литераторы прекрасно обходились без тайнописи. Разумеется, в их сочинения проникали архетипы, которые, как и в древности, пронизывали и пронизывают язык и сознание людей Нового и Новейшего времени, но они вряд ли это сознавали. Чтобы как-то отличить произведения такого рода от криптографов, я определил их как «саги».

Нужно ли объяснить, почему? Древняя скандинавская сага — это даже не репортаж, а скорее протокол, в котором автор-свидетель обязуется говорить правду, еще раз правду и только правду о том, что было, ни на йоту ничего от себя не домысливая. При малейших намеках на выдумку саги объявлялись «ложными».

Конечно, этот термин — метафора. В Новом и Новейшем времени канонам «правдивой саги» строго соответствуют только мемуары и так называемая «литература факта». А как быть с fiction, «литературой вымысла»? Дело в том, что наличие вымысла не существенно. Даже не всякая фантастика связывает читателя с «миром архетипических духов». Это не всегда удается даже литературным сказкам, а уж их-то, казалось, вынуждает к этому сам жанр. Забавно, но самые знаменитые сказки Новейшего времени располагаются намного ближе к протоколу, чем к древней волшебной сказке. «Просто истории» и «Книга джунглей» Киплинга — замечательная литературная игра, но не более того. Это артефакты, искусственные сказки, которыми наслаждается сознание, в то время как Бессознательное скучает или дремлет. Милые истории про Муми-троллей и Карлсона дышат уютом, безопасностью и пропитаны филистерским духом. К сказкам они отношения не имеют — истинная волшебная сказка полна опасностей, страшных существ и страшных событий.

Правдивая сага современности — это литературное повествование, в котором нет тайнописи того рода, о котором я уже говорил. Это тоже «протокол», даже если в нем зафиксированные вымышленные события. В русской литературе самый яркий протоколист — Лев Толстой. Говорят, когда его спросили, о чем роман

«Анна Каренина», он молвил высокомерно, что для ответа ему пришлось бы написать роман заново. Оно и понятно — сагу нельзя пересказать в нескольких словах. Ее содержание — полный перечень «улик», «обстоятельств» и «показаний свидетелей».

Казалось бы, у лишенного иллюзий протоколиста взгляд должен быть острее, чем у витающего в облаках визионера. Как ни парадоксально, у нас в России из двух членов оппозиции «свидетель — визионер» в роли утописта выступил не кто иной, как протоколист Лев Толстой, в упор не замечавший основных проблем современной ему эпохи. А творчество гениального визионера Фёдора Достоевского стало магическим зеркалом, в котором сфокусировались главные глобальные проблемы, масштаб и трагизм которых начали сознавать во всей полноте лишь наши современники, люди двадцать первого века.

Если у литературы действительно есть какие-то задачи, лежащие вне ее самой, то у саги и криптографа они, естественно, разные. Свидетельская литература обращена к настоящему и прошлому. Основное содержание саг — фиксация индивидуального опыта конкретного человека или конкретных людей. Они осуществляют связь современников с внешней стороной культуры прошлых поколений. Криптографы связывают прошлое с будущим и осуществляют связь современности с глубинными слоями национальной культуры.

2. Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?

О молодых ничего сказать не могу по той простой причине, что мало читаю современную литературу. А что касается «старших», то на ум приходят только Валентин Распутин и Александр Проханов.

В повести «Живи и помни» дезертир Андрей Гуськов, как и Родион Раскольников, — изгой, отколовшийся от людей и потому постепенно превращающийся в какую-то лесную нечисть. Мало того, повесть Распутина, как и «Преступление и наказание», пронизывает переключка живых и мертвых, отголоски которой вынесены даже в название. К сожалению, здесь нет места разобрать филигранную, но тайную работу писателя, превратившую на первый взгляд «реалистическое» произведение в криптограф. Перечитайте повесть внимательно, и вы обнаружите немало для себя любопытного. Впрочем, в творчестве Распутина это, кажется, единственный такой опыт.

Метод Проханова примечателен тем, что свою тайнопись он наносит поверх текста бьющими в глаза яркими флуоресцентными красками, создавая полотно, напоминающее фрески Сикейроса. Хотелось бы и об этом подробнее, но места нет...

К сожалению, как метко заметил Иосиф Бродский, русская литература в массе своей пошла по пути Льва Толстого, а не Фёдора Достоевского. Судя по всему, она намерена двигаться в этом направлении и в будущем. Явления Гоголя и Достоевского останутся лишь волшебными праздниками в череде суровых будней отечественного литературного процесса.

Зато современная англо-саксонская литературная промышленность наладила конвейерное производство псевдокриптографов. Я не исследовал тему, но у меня создалось впечатление, что процесс запустили «Звёздные войны». Джордж Лукас положил в основу тайного, глубинного сюжета своей космической оперы архетипическую схему, описанную в книге «Герой с тысячей лиц» Джозефа Кэмпбелла, американского исследователя мифологии. Не знаю, читал ли Лукас саму книгу, или ему хватило краткой методички, которую написал для сценаристов голливудский продюсер Кристофер Воглер, уваживший книгу Кэмпбелла до сухого остатка в семь страниц. Первый же фильм франшизы «Звёздные войны» имел ошеломительный успех. И с тех пор началось... Мифическая структура пошла по рукам. На основе своей методички Воглер составил руководство и для литераторов — полноформатную книгу «Путешествие писателя». И это лишь один из множества трактатов с рецептами, как писать криптографы, сочиняют которые в основном малоизвестные средние писатели. Однако, чего греха таить, я сам читаю такие книги...

Ясно, что простого следования рецептам мало. Если автор не обладает архетипической интуицией, у него получится всего лишь грубая подделка, вроде тех сработанных на скорую руку фигурок, которые кустари в слаборазвитых странах продают туристам под видом древних магических фетишей.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

Это вопросы, которые я давно задаю себе, и ещё не нашел ответа.

В каком направлении искать? Нынешний кризис перехода к новому технологическому укладу и новому мировоззрению неизбежно взорвет привычные нам карты мира. Как новые очертания скажутся на литературе? Каким станет роман в двадцать первом веке? И выживет ли он как жанр? Изменит ли литературу трансформация капитализма, в недрах которого возник и сложился современный западный, а затем и русский роман? Как повлияет на него Великая антиколониальная революция, на которую Россия наконец отважилась в начале нынешнего года? Приобретет ли термин «постколониальная литература» новые оттенки или новое значение? Как скажется на романских формах неизбежное соперничество литературы с мультимедиа и многосерийными сериалами? Удастся ли романистам выразить в пластике новые представления о времени и пространстве, выдвинутые современной наукой, о месте человека во Вселенной, о взаимоотношениях человечества и Природы и ещё о многом, чего здесь не перечислить?

Думаю, для начала необходимо осознать задачу, очерченную кругом перечисленных вопросов, не говоря уже о тех, что здесь даже не упомянуты. Ну а далее — Бог в помощь.

Что же касается проблем сугубо литературных, процитирую Станислава Лема, с мыслью которого полностью согласен. Основание для его высказывания — знаменитый роман Набокова. Лем пишет: «“Лолита” <...> поднимает особую проблему, проблему <...> пограничных зон <...> Она покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой; таких зон можно отыскать больше: между психопатологическим исследованием и детективным романом, между научной фантастикой и литературой без уточняющих определений, наконец, между литературой “для масс” и элитарной литературой. Ибо вряд ли можно сомневаться, что разрыв между курсом художественной биржи для избранных и уровнем продукции типа mass culture возрастает. И сколь бы ни казалось безумным скрещивание чудовищно далеких друг от друга жанров (а экспериментатор при этом рискует лишиться как читателя-интеллектуала, который уже не захочет его читать, так и массового читателя, для которого подобное чтение все еще слишком трудно), я тем не менее отважился бы сделать ставку на такие гибриды».

Сергей Солоух, прозаик (г. Кемерово)

«Чёрт с ней, с литрой, если только останется музыка...»

1. Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)

Некий автоматизм ответа, тут, кажется, предполагается, все помнят и папу с мамой, и дедушку с бабушкой. Но традиционная форма ответа в виде списка названий и имен мне не кажется осмысленной. Потому что не дает ответа на естественные вопросы: а почему и как? Попробую сначала объяснить механику и правила, если хотите, пусть будет, этой литературной генетики, как я их вижу, ну, а потом, как уж заведено, и список предьявлю. И думаю, он покажется естественным.

Так вот, я думаю, что в той культурной традиции, к которой мы принадлежим, а это, несомненно, европейская, есть три спиральки ДНК, закрученные не то чтобы в противоход, но совершенно определенно каждая своим особенным, не сходным с иными прочими макаром. Я вижу, условно говоря, античное макраме, христианское и дикарское, ну или пусть называется политкорректнее — языческое или пантеистское. В античной традиции важно сохранение непрерывной историко-культурной связи, значения кодов и символов, практик и образов, нужно быть необыкновенно образованным и развитым индивидуумом, чтобы подхватить и влиться. Для христианской важно прежде всего спасение, а значит, самоотречение, подвиг, твердость духа и т.д. — багаж труда и знаний не обязателен, только вера, а это доступно уже кругу людей пошире, да всем и каждому, чрезвычайно демократичное переплетение нитей. Ну, и последнее, казалось бы, совсем уже простое, но из-за этой простоты как раз неуважаемое, презируемое, маргинальное — та самая дикая вязь. Язычество, пантеизм, с его глубоким отвращением к большим идеям и многослойным связям, рассудочности и концептуальности, кормящийся исключительно и только эмоциями. Живым человеческим опытом, и все. Вот это и есть мое плетение. И плетение Пушкина. Он, на самом деле, наш главный дикарь. Человек, который был способен восемь, кажется, лет писать роман, что для любого, не дикого, а завинченного антично или по-христиански, просто книга ни о чем, изящный пусячок в стихах, а для нас, которые с иной резьбой, и образец, и путеводная звезда. Идеальное соединение чувства и стиля. Величия всего сущего. Ее гармонии.

Но Пушкин ведь не один такой у нас, не мудрствующий лукаво, а вечно парящий, живущий, он просто совершенен и абсолютно целен. Он весь из мяса и крови. Но очень много мяса, и самого дикого, настоящего, и в Гоголе, и в Бунине, и в Мандельштаме, и в Ильфе с Петровым, и в молодом Василии Аксёнове. Ну, и конечно, в Варламе Тихоновиче Шаламове. В любом по-настоящему большом писателе и даже... даже в Марселе Прусте, зануде, вечно перебирающем и сортирующем мелочь за лимонадной стойкой, но однажды сумевшем сказать устами своего героя: «Увы! Я-то знал, что я совсем не такой, что любая, самая высокая мысль оставляет меня холодным, что я счастлив, когда я просто брожу, счастлив, если у меня хорошее самочувствие; я-то знал... как легко было бы мне ни о чем не думать»¹. Конечно, очевидно, не думать... просто танцевать. Ведь танец — нечто предельно уже близкое к идеальному способу выражения человеческой души. И, вообще, музыка, которая, с точки зрения любого дикаря, как способ передачи и воплощения невыразимого, но главного в судьбе и жизни, безусловно важнее и значимее любого произвольно взятого тургенева или Достоевского.

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

Нет. И я не зря уже упоминал и маргинальность, и презируемость как нас самих, так и нашего «наследства». «Онегин» — ха-ха. «Записки сумасшедшего» — ну-ну. «Маруссийский колосс», «В дороге» — фи и фи! Мы, дикие, как-то выпали из текущего литературного процесса, натурально сброшены с корабля современности. Сама дикость больше не в цене, не часть ЗОЖ передового человека с атавистическими навыками чтения эпохи эмпатии и телепатии. И нет в этом ничего удивительного, эпохой, обществом востребованы не «острота восприятия» и, соответственно «умение чувствовать и называть», а в точности наоборот — «глубина отключения». Вся эта в наше время потоками воспроизводимая широкими писательскими массами и поглощаемая столь же широкими читательскими параллельная реальность, нереальность и просто фантастика, историческая и неисторическая беллетристика, ну, и, конечно, детективы, агенты, сыщики, пилоты, космонавты и агенты влияния, пересочинение пересочиненного, — все это надежный способ выпасть из реальности.

¹ *Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету.* / Пер. А.Фёдорова. — М.: AST Publishers, 2017.

Забиться и не жить. Какой уж тут Керуак, Шаламов? Не катит даже «Москва-Петушки». Конец ломающий весь кайф. Нет. Все это на обочине времени и общества. Молох эпохи — Стругацкие. Стругацкие и еще раз Стругацкие. Два брата — и тотем вам сразу, и табу. Бумага, бумага и еще раз бумага. Вещество без крови. Наверное, поэтому молчат или просто повторяются Игорь Клех и Анатолий Гаврилов. Гениальные люди. И никакой прозы не пишет Сергей Гандлевский. А ведь была вполне себе настоящей, и дикой. Ну, то есть живой. Абсолютно. Из мяса, из опыта, из чувств. Нет, наше поколение — смешное и ненужное, как заброшенный атомный бункер времен Хрущёва или Брежнева. Все есть для жизни. А на фига?

3. *Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?*

Да все сохранится. Вопрос не в этом, на самом деле, окажется ли нужным подлинное, вот, что интересно. Или всех победят Майкл Джексон и Алла Пугачёва? Генная инженерия и мезотерапия, пилинг и контурная пластика. На этот вопрос у меня ответа нет. Да, я его и не ищу. Ну, то есть черт с ней, с литрой, если только останется музыка. А она останется. И это совершенно определено. Пока вообще жив человек.

Александр Чанцев, критик, прозаик, эссеист (г. Москва)

В абсолютном жанре

1. *Кому вы наследуете? (В широком смысле слова и в литературе «всех времен и народов»)*

Какое-то время я уже задаю себе подобный вопрос — немного в другом ракурсе. Даже думал было сделать пост с вопросом (только все опросы в блогах отчасти манипулятивны, комментосборник такой). Кто в последние годы может быть авторитетом, на кого равняются?

Потому что для меня после смерти Бибикина и Лимонова, Летова и Мамонова — при том, подчеркну, что процент совпадения во взглядах с ними вряд ли больше 50% — просто нет *больших* фигур.

А они все же важнее и нужнее, чем те, у кого подхватил что-то стилистическое, какой-то прием или даже метод работы.

Если про метод и критику, то тут как раз все понятно. К. Чуковский и В. Шкловский. В. Набоков с его лекциями о литературе. А. Гольдштейн. Уже в наши дни — О. Балла и Д. Бавильский, А. Скидан и Д. Давыдов. И В. Беньямин, конечно.

Возвращаясь же к тем, кто по разряду исполинов и моральных авторитетов. Таких фигур сейчас — повторю, для меня — и нет.

То, что для кого-то чуть старше тинейджерского возраста (там может привлечь мотив «он сам сделал себя, я тоже могу» и сотворения себе кумира, наклеивания плаката на стену, то есть скорее заставки на мобильный или монитор) моральными и интеллектуальными авторитетами могут быть Дудь, Шульман¹ или Собчак, приводит просто даже не в ужас, но в кататонию. Это ведь троллинг такой, правда? Нет. Это — настоящий тупик и «оба хуже», когда или как бы рокеры вроде Макаревича и БГ, решившие в перерыве между корпоративами вспомнить далекую протестную юность, или Даня Милохин и Клава Кока. Но это же до какого стрима из инста-ада² доведет? А до такого, оглянитесь.

¹ Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны в РФ иностранными агентами.

² Инстаграм — социальная сеть, запрещенная в РФ.

Тут, если назвать какое-то просто нормальное имя, подставишься — пафос и начетничество.

Но два имени, которые над, вне и за. И всегда. В прозе, эссеистике и больше.

М.А.Булгаков. Лекарь и писатель, джентльмен и рыцарь. Борец за достоинство частной жизни, что бы там за кругом света зеленой лампы (это такой защитный радиус, меловой круг Хомы Брута, нечисть не заступит) не происходило.

И Э.Юнгер. Аристократ духа, стиля, бабочек, садов, дорог, войн и философии.

Оба — безусловные благородные мужи.

Кстати, и не только для жизни и прозы они пригодятся образцами, но и для той же критики, мне кажется. Ибо то, что условно называется философской эссеистикой Юнгера, мне уже много лет видится самым абсолютным жанром. Речь же все же не про формалистов, постструктуралистов или Тарту, а — про углубление в суть вещей, занырявание. И вынырявание с минимальным количеством самых точных слов.

Тем же, кто сейчас претендует на подобный *статус*, но впадает в годовую депрессию сначала от ковида, а потом просто выпадает, *выпиливается* и уезжает от нынешнего, на минуточку, стоило бы вспомнить, в какое время жили и как работали те. Революция, Гражданская война и Сталин, запрет печататься у Булгакова, а не «замедление работы» *инсты* нашими и «запрет монетизации для блогеров из России» их надзорными органами. Две мировые войны, гибель сына, два запрета печататься (от нацистов и от союзников) Юнгера.

Который в своей работе «Уход в Лес» не только почти детально предсказал недавнюю пандемию¹, но и много писал о ситуации краха мира, крайней вражды и способов выживания, сохранения себя в ситуации кардинально меняющегося мироустройства. Способы спасения, конечно, у всех разные, но к его уроку мужества можно прислушаться: «Когда слишком много размышляют об обходных путях, о проезжих дорогах забывают. <...> В нашем положении мы обязаны считаться с катастрофой, засыпать с мыслями о ней, чтобы ночью она не застала нас врасплох. Только благодаря этому мы получим тот запас безопасности, который дарует возможность осмысленных действий. <...> Мы должны вложить в катастрофу весь наш капитал — для того, чтобы сохранить золотую середину и пройти по лезвию ножа.<...> О теории катастрофы сказано достаточно. Никто не волен ее избежать, но все же и в ней можно обрести свободу. Будем считать ее испытанием».

2. *Узнаёте ли вы в ком-то из молодых писателей — своих и своего поколения читателей, будь то «наследники» или оппоненты?*

«Наследников» уже лет пять узнаю в нескольких критиках — условно, сейчас проверил, ранне 30-летних; некоторая эстетическая синонимичность векторов отчасти находится и в поколении старше (интересно, что не из ровно ровесников). Не учеников, работающих точно в той же парадигме, — наша работа заточена на индивидуальности, которая есть единственная возможность выхода на ожидания тех или иных читательских масс, поэтому повторение невозможно, да и время школ, объединений и кружков прошло, как бы ни пытались отдельные литдеятели объединить, надзирать и направлять. Но читают они почти все, так или иначе учитывают, если и не ориентируются.

Чувство это даже больше немного медитативное, чем лестное. Значит, незаметно оказался в другом поколении, возрасте. А ведь так недавно и так долго был «молодым критиком» сам. А теперь какой — взрослый, возмужалый, средних лет, что ли?

Узнаю еще в них свой голод. Такое классное чувство: прочесть все, освоить все обсуждавшееся, на любую книгу согласиться и найти в ней что-то. Моему — этому трудно определимому — возрасту-поколению и старше свойственна и(ли) привычна

¹ См.: Чанцев А. Соппротивление в мире масок // Перемены. 2020. 2 мая (<https://www.peremeny.ru/blog/24671>).

даже диета — да, уже возраст, пора и о здоровье подумать, — или же снобское гурманство и расслабленное эпикурейство. Пишут меньше, о привычном-любимом, снимают сливки с рафинированных публикаций.

Пока вообще не уйдут из профессии, жар потеряв или же его перенаправив.

Потому что ты можешь сделать себе имя, а оно тебя сделать — уже нет.

3. Литература ваших сверстников: что вас объединяет и отличает от других и для вас важно, чтобы сохранилось в будущем?

То, что сохранится, обычным людям видно только через увеличительное стекло будущего. Гениям еще видно, потому что они его и творят.

«Никто сегодня не может сказать, что именно завтра умрет, а что уцелеет в литературе, философии, эстетике. Никто еще не знает, какие мысли и формы выражения будут занесены в списки потерь, а какие новшества будут провозглашены», писал в эссе об умерших культурах Валери, которого, по идее, самого должны были сдать в утиль — автор горетки стихов, кучи разрозненных и по случаю эссе.

Хотелось бы, чтобы сохранилось хоть что-то. Потому что жизнь все больше напоминает блогеру ленту: проскроллить, просмотреть, ужаснуться, забыть, через час будет новый хайп и холивар.

В последние годы еще и каждый новый отменяет предыдущий. Ковид и Украина. Перестроились. Обновились. Отменили. Заново. Еще раз.

Если раньше одну очистку матрицы «до заводских настроек» от другой отделяли все же изрядные десятилетия, то сейчас годы и месяцы.

Пусть сохранит. И даже это жесточайшее время страха, крахов, распрей и расфрендов когда-то предстанет на бумаге в чем-то наивным и сентиментальным. Как *автофикшн*¹ даже не революции, но и войны уже.

Как писал тот же Валери, «никогда еще мир не пребывал в такой растерянности, выбирая свой путь».

(Продолжение в следующем номере)

¹ «Однажды, быть может, самой сильной будут считать ту часть нашей литературы, которая менее всего исходила из чисто литературных намерений: все эти записки, письма, дневники, которые писались во всех этих больших охотничьих загонах, "котлах" и живодёрнях нашего мира. Узнают, что человек в своём "De profundis" достигал таких глубин, что смог прикоснуться к первоосновам и сокрушить жестокую власть сомнений» — еще одно предвидение Юнгера сработало уже какое-то время назад, когда не только модной, но и важной и востребованной стала та эго-литература, которую когда-то называли «человеческий документ», потом «документальным фикшном» (Зебальд, у нас — «Возможно Эстер» Кати Петровской и «Памяти памяти» Марии Степановой), а сейчас чаще говорят в терминах «автофикшна».

Ольга Балла

Учебник понимания

Ирина РОДНЯНСКАЯ. Книжная сотня: Малоформатная литературная критика с приложением «Четырёх векторов внимания». — М.: Русский мир, 2021. — 400 с. — (Литературная премия Александра Солженицына)

Сердцевину нового сборника критических статей Ирины Роднянской, смиренно названного в аннотации к нему «отчётным дополнением» к двухтомнику «Движение литературы» (М.: «Языки славянских культур», 2006), составляют десять «Книжных полок» — связок коротких рецензий (в каждой — по десять текстов). Это специальный «новомирский» жанр, изобретённый в своё время Кириллом Кобриним в качестве регулярной журнальной рубрики, где на протяжении года «с индивидуальными отчётами о текущем чтении» сменяют друг друга разные авторы. Рубрика — подчеркнута авторская: пишущий туда имеет право делать всё, что чувствует нужным, а быть пристрастным вообще едва ли не должен: одно время там даже оценки книгам ставились (в сборнике Роднянской они убраны, и это, пожалуй, правильно, — авторское впечатление от книги, в том числе выраженное категорично, всегда сложнее оценки).

«Можно было, — вспоминает Роднянская, — устанавливать внутри каждого цикла тематические связи, можно отдалённо-ассоциативные, а можно — просто выбирать из настольных книжных завалов что угодно по прихоти, — и никто тебе не указ». (Глаголы прошедшего времени относятся только к участию в рубрике самой Ирины Бенционовны: «Полка» действует и поныне.) «Я пользовалась, — говорит она далее, — всеми тремя возможностями».

Десять «полок» за десять лет, с 2000-го по 2009-й, составили «книжную сотню», в честь которой книга и названа.

Удивительно (ли?), но этот открытый своеволием формат стал для зрелого, многоопытного критика неожиданным расширением диапазона возможностей — не замедлившим, по признанию автора, благотворно сказаться и на иных формах её критической работы («ощущение неизведанных прежде возможностей сказалось с тех пор и на писавшемся мною в нулевые и десятые годы в других жанрах и “форматах”»).

Свою работу в «новомирской» рубрике Роднянская называет «опытом раскрепощения». Более того: «Для критика, овладевавшего своими навыками в подневольную ещё эпоху, когда по умолчанию не допускался никакой “импрессионизм”, никакая “фамильярность” ни в лексике, ни в манере изложения, — “малоформатный” способ письма был целым переворотом, новой школой». И не только стилистически, но и в способе мышления: тренировкой в стремительном установлении связей между разными смысловыми областями, на которые наводят взгляд, сойдясь волею случая на одном читательском столе, рецензируемые книги, сколь бы ни были различны их темы и жанры, а чем они различнее — тем даже и лучше: тем продуктивнее их внезапно обнаруживаемое единство.

Представлено здесь, в полном согласии с замыслом рубрики, — чтение субъективное, с непременными отсылками к собственному читательскому,

человеческому, историческому опыту, с прояснением эмоциональных путей, ведущих к интеллектуальным суждениям, а в случае Роднянской — ещё и с вниманием и сочувствием к рецензируемым авторам. Тексты, возникающие в результате такой читательской практики, — с открытым выражением в них личных симпатий, с эмоционально-категоричными суждениями — оказываются в прямом родстве с дневниковыми записями и в родстве «двоуродном» — с публицистикой. (Есть у этих по видимости лёгких текстов и ещё одна близкая родственница, которая не демонстрирует с настойчивостью своего лица, но неизменное её присутствие чувствуется: это философия.) Говоря о книге Евгения Добренко «Формовка советского писателя» — о социальных и эстетических истоках советской литературной культуры, о том, как Добренко собирал для книги материал, роаясь в «постреволюционной литературной продукции» и окружив себя «“легионом” полузабытых и напрочь забытых имён», критик восклицает: «Удивительно, как не захлебнулся, как не задохнулся он в этой абсолютно противопоставленной живым существам среде, память о которой все мы, кто успел соприкоснуться с ней в школе или по жизни, стараемся вытеснить как травму». Находя среди героев воспоминаний переводчика Николая Любимова, читаемых — волею чистого случая — сразу вслед за книгой Добренко, героев этой последней — критиков А.Воронского, Вяч.Полонского и А.Лежнева, она признаётся, что если для Добренко эти советские литработники — «не более чем функционеры, то для Любимова они — талантливые родовспомогатели настоящей литературы, люди с личным обаянием и личной трагедией, — и душа больше лежит к такому вердикту».

Сочувствие сочувствием, но вообще-то Роднянская — человек с незыблемыми ценностными основаниями, в свете которых суждения её умеют быть максимально жёсткими, и адресатов этих суждений она не шадит даже на лексическом уровне. Так, по полной программе достаётся от неё «Мифогенной любви каст» Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна: «скандальное отсутствие собственной выдумки», «сюжетная пружина <...> оглуплена до невероятия», «чирья матерщины, столь же банальной, сколь гнусной, ещё более тошнотворный секс-канцелярит»... Но Роднянская не была бы собой, если бы не выговорила своего восприятия анализируемого текста ещё и на бесстрастно-академичном языке (при необходимости высказываться коротко такое возможно спрессовать в формулу, что автор и делает): «постмодернизм второго порядка, то есть деконструирующий виртуальные наработки, обречён на самоуничтожение; корень, извлекаемый из минусовых величин, даёт мнимое число».

В каждом из собранных сюда небольших, не длиннее страницы, текстов ведётся, конечно, работа прикладного порядка: автор оценивает работу коллег-литераторов, настраивая тем самым общекультурное видение литературного процесса. Но тут жанр рецензии устроен так, что перерастает сам себя, выходит за рамки утилитарных задач. Хотя бы уж потому, что всё сказанное здесь о максимально различно устроенных текстах складывается в цельность (как ещё и взять целое, если не из многих удалённых друг от друга точек сразу?). Павел Басинский в одном из дополняющих книгу предисловий пишет, что в девяностые Ирина Бенционовна была для него критиком, «способным связать воедино» литературный процесс. Как видим, эту способность Роднянская сохраняла и в двухтысячных: она и тогда читала молодых, никому ещё не известных авторов с тем же пристальным вниманием, что и классиков.

Полный воздухом времени читательский дневник Роднянской, при всей его избирательности и пристрастности (как раз благодаря ей), разрастается до портрета этого времени. Складываясь в хронику литературного и издательского процесса самого конца прошлого века и первого десятилетия века нынешнего, он позволяет рассмотреть, и, благодаря широте интересов автора и восприимчивости её к новейшим явлениям, с очень разных сторон, — пришедшийся на эти годы этап истории идей, настроений, ценностей, писательских биографий. Всё, о чём тут идёт речь, сегодня уже — далёкая история (как заметил в своей «знаменской» рецензии на сборник Борис Кутенков, «в этой книге Максим Амелин назван “молодым еще, по нынешним понятиям, но уже всеми замеченным поэтом”, а Дмитрий Данилов — представителем “племени не только младого, но и малознакомого”») — и тем интереснее читать и вспоминать это нам, в немалой степени разделяющим с автором её читательский опыт тех лет (что даёт

читателю лестное чувство общности), помнящим, как обсуждаемые книги были волновавшими новинками и расширяли наши горизонты, — и уже знающим, что было дальше.

«Книжную сотню» можно уверенно использовать как путеводитель по (литературной) эпохе, — тем более, что она снабжена указателем имён рецензируемых авторов или, за неимением таковых, названий книг, а кроме того — и пометками на полях старого дневника: комментариями к отдельным рецензиям, написанными позже. За «сотней» же следует раздел, составленный из текстов более основательных, написанных до 2015 года включительно. Представляющий смысловой фон (скорее, фундамент) коротких рецензий из «Книжной полки», он читается как персональная карта проблем, занимающих Роднянскую на протяжении всей жизни и разрабатываемых ею на материале текущей словесности. Размышления над этими проблемами — (не только диагностика интеллектуальной и ценностной атмосферы эпохи, но) ещё и самоанализ, в чём автор открыто признаётся.

Первый из «четырёх векторов внимания», определяющих пространство критической работы Ирины Роднянской, — поэзия (и чтение её) как духовный опыт и способ моделирования мира. Соответствующую часть книги открывает большая статья (автор скромно называет этот текст, вполне достойный статуса мини-монографии, «“многофигурным” обозрением»), посвящённая религиозным и метафизическим поискам русских поэтов рубежа веков на фоне общего состояния тогдашней культуры, разлитой в ней «духовной тревоги» и «рефлексий современного человека, не успокоенного ответами “из катехизиса”». В ней не только анализируется «духовное самоопределение» современных автору поэтов (Сергея Аверинцева, о. Сергия Круглова, Олеси Николаевой, Тимура Кибирова, Елены Шварц, Бориса Херсонского, Светланы Кековой, Алексея Цветкова...), но соотносится с ним и собственное «положительное ментальное и эстетическое переживание автора-читателя». Единый смысловой блок с этой работой составляет второй вектор — проза: философская, мыслящая, прокладывающая новые пути (её представители в книге — Дмитрий Данилов с его «минималистским» романом «Горизонтальное положение», в котором иные современники даже литературы не усмотрели, и Андрей Битов — ранний и поздний, «неизменный “поколенческий” спутник» автора в литературе), — с нею Роднянская, по собственным её словам, работает методами «филологизирующей критики, силиющейся извлечь “идею” из самой тональности текста». Третий — особенная разновидность прозы, занимающая Роднянскую с отроческих лет: фантастика, — за неё здесь представляет (высоко ценимый автором — и именно потому жёстко ею оцениваемый) Виктор Пелевин. И, наконец, четвёртый вектор связан с многолетней работой автора над статьями для энциклопедий («сначала это была подённая (с первых томов “Краткой литературной энциклопедии”), а потом всё более увлекательная, притом — познавательная и поучительная работа»). Образчик её здесь — статья об Алексее Константиновиче Толстом, предназначенная для 6-го тома энциклопедического словаря «Русские писатели. 1800—1917» и публикуемая в оформлении, принятом в этом издании. (Она, кстати, и стилистически представляет собой полюс, противоположный стремительным и вольным рецензиям «Книжной полки»: это пример жанра «педантичного, шепетильного и обязующего».)

Эта заключительная статья (за нею уже идут послесловия), невзирая на её казалось бы сухую академичность, — одна из самых принципиальных в сборнике (уж не самая ли? — ладно, примем, что она разделяет эту позицию со статьёй о духовных поисках в поэзии, в которой тоже высказано много важного). Статья о Толстом, писавшаяся, между прочим, на протяжении целого года, практически, — ценностный, этический манифест автора. Из множества героев написанных Роднянской энциклопедических статей Алексей К. Толстой, «двух станом не боец», выбран не случайно: он, по мысли автора, — «безупречная фигура», — безупречная именно в этическом смысле, с его социальной позицией, с нежеланием всецело примыкать ни к одной из актуально противоборствующих в социуме сторон, но видеть, чувствовать и понимать все сразу. Такая позиция очень родственна самой Роднянской с её «одиноким пытливым анализом» (Павел Басинский), — и это точно заметил в своей упоминавшейся уже рецензии Борис Кутенков, почему-то сказавший, правда, что

статья о Толстом «воспринимается как довесок», — ну какой же она довесок, когда — прямо-таки один из центров.

(Как видим, личным и личностным высказыванием способна быть в умелых руках даже словарная статья.)

На послесловия (собственно, речи, произнесённые при вручении Ирине Бенционовне премии Солженицына в 2014 году), которые, казалось бы, с большими основаниями могли бы претендовать на роль «довеска» к основному корпусу текстов, тоже стоит обратить внимание, — это не простые жесты вежливости, там говорится нечто принципиальное. Например, Павел Басинский формулирует, чем отличалась работа «критиков старшего поколения» от той, которой занимаются его ровесники, — и чем отличается от них работа самой Ирины Бенционовны. Для сопластников Роднянской, говорит он, «очень важной была апелляция не только к профессиональному читателю, а к читателю широкому. Этим они, в общем-то, и отличались от нашего поколения. И занимая такую позицию, они в известной степени теряли этого читателя, потому что этот читатель уходил к новым писателям: к тому же Сорокину, к тому же Пелевину...». Пелевин раздражал даже многих критиков поколения Басинского, «которые придерживались более традиционных ценностей». Роднянская (с её, между прочим, вполне традиционными ценностями, — уж кто не авангардист, так это она), как мы знаем, новых писателей как раз читала и читает. Для критика её поколения, говорит Басинский, «выступить “за” Пелевина» и проанализировать его как «интеллектуально-духовную фигуру» — «это был поступок».

Но более того: Басинский совершенно точно заметил, что Ирина Бенционовна, обращаясь и к коллегам-профессионалам (себя она, впрочем, иронически дистанцируясь от них, назвала как-то «критиком-дилетантом», всем бы такой дилетантизм), и ко всем читающим собратьям по культуре вообще, сохраняла и сохраняет «цельность диалога» — то драгоценное, что теряется даже в литературной среде, распадающейся на более узкие сообщества, не говоря уж о культуре в целом.

Менее всего эту книгу (собранную из текстов, которые в предыдущие книги Роднянской не входили) хочется читать как послесловие к многолетней критической работе автора или не слишком обязательные пометки на её полях: она открытая, живая, чуткая и подвижная и занимается как раз существенным, в чём бы то ни выражалось. (В этом смысле статьи, писанные о книгах, вышедших лет двадцать назад, не устарели нисколько.) Прежде всего прочего — может быть, прежде даже многоохватывающих панорам стремительно уходящих в прошлое литературных эпох, прежде авторской, читательской и интеллектуальной автобиографии, черты которой здесь несомненны, — я бы читала это как учебник понимания. Тем ещё более, что в сборнике представлен широчайший диапазон его способов, модусов, интонаций: от бегло формулируемых эмоциональных впечатлений до монографических исследований. Он хорошо настраивает восприятие. В нем можно видеть практическое руководство по искусству всматриваться, вдумываться и вчувствоваться в чужие тексты — независимо от степени согласия с ними и оценки их качества. На роль такого учебника книга (кстати, в ней — ни малейшего менторского пафоса, что располагает к автору особенно) напрашивается несмотря на то, что — как раз потому, что — в ней не высказано ни единого прямого указания на то, как это следует делать, не сформулировано ни одного претендующего на общезначимость правила: достаточно по живому следу пройти путь автора за пятью пядь. Всё — на примерах, на единственном личном опыте. Что, как известно, — самое убедительное.

Не говоря уж о том, что восприимчивость и интерес, во-первых — к разному, во-вторых — к новейшему, неожиданному, не ложащемуся в привычные рамки, ещё не освоенному общекультурным вниманием, в-третьих — к метафизической основе дел человеческих и в-четвёртых — широкий стилистический и жанровый диапазон высказываний, многообразие форматов критического мышления (да, ещё в-пятых: сочетание аналитизма с отчётливой ценностной позицией и, наконец, со страстностью), — важный урок всем нам, дорогие коллеги.

Борис Минаев

Пусть этот мир прогнётся под нас

Недавно нашел на ютубе совместный юбилейный концерт «Машины времени» и группы «Воскресенье». Запись середины девяностых. Старые любимые песни, ностальгия по тем бессмысленным, как кажется теперь, надеждам, тем простым чувствам; звуки, под которые мне становится чуть легче жить.

Но вдруг я обнаружил и еще одну деталь на этой старой записи: как выглядят сами зрители. Зрители в пиджаках с большими плечами, авторитетные мужчины в первых рядах, девушки с модными челками — они сидят в огромном помпезном зале Кремлёвского дворца съездов и слушают песни, которые еще пять-шесть лет назад там невозможно было представить: рок-н-ролл, «поэзия из подворотни», как величали тогда их творчество фельетонисты «Комсомольской правды», песни протеста. Еще недавно здесь, в этом зале, читал свои доклады по бумажке Леонид Ильич Брежнев, выступали члены Политбюро, высоким дрожащим голосом говорил с трибуны, обращаясь ко всей стране, академик Сахаров, голосовали депутаты съездов.

И вдруг мир встал на голову, все изменилось!

Эпоха девяностых...

Как она отразилась в искусстве, в кино, в литературе — мы примерно знаем. Вышедшие из подполья, приехавшие из вынужденной эмиграции концептуалисты и нон-конформисты — Кабаков, Булатов, Рабин.

Появление российского арт-хауса, поздние фильмы Рязанова, Михалкова, Абдрашитова, эпоха «малокартинья», но уже не из-за сталинской цензуры, а из-за экономических реформ — в кино.

Бывшие диссиденты и отщепенцы — Аксёнов, Владимов, Окуджава — лауреаты новых литературных премий, появление «молодой (тогда) шпаны» — Сорокина и Пелевина в литературе.

В музыке — мощная волна русского рока.

Ну а что же в театре?

Можно ли вообще делить театр на политические эпохи, на десятилетия? Это — большой вопрос. Обычно демаркационные линии проходят совсем по другому принципу: режиссеры-новаторы, премьеры, появление новых театров, иного театрального языка.

...В 90-е знаменитая «новая драма» с ее хлынувшим на театральную сцену бытовым, уличным сленгом, с жутковатыми социальными сюжетами, с тем, что ее недоброжелатели обозвали «чернухой», — только зарождалась, фактически еще не появилась, как ни странно. «Новая драма» ждала в 2000-е своих режиссеров и драматургов: Кирилла Серебренникова, Ольгу Субботину, Николая Коляду, Ксению Драгунскую, Василия Сигарева и других; ждала своих теоретиков и педагогов — Михаила Угарова и Елену Гремину. Ютилась еще по подвалам.

Делали самые-самые первые шаги нынешние корифеи сцены: Богомолов, Бутусов, Крымов.

...Медленно и осторожно менялся старый театр в новой эпохе.

О том, как именно это происходило, — можно прочитать в недавно вышедшей книге Андрея Житинкина «Приключения режиссёра».

Я рекомендую ее тем, кто помнит и любит тот театр, тех актеров, те премьеры, которые давно уже стали историей 90-х.

Самое интересное для меня в этих воспоминаниях — портреты «стариков», великих советских актеров, которые оказались в новой ситуации, в новой эпохе. Как они к ней привыкали. Как они в ней обживались.

Первый очерк в книге — о Всеволоде Якуте, мэтре еще сталинского театра, который играл у Житинкина в «Калигуле» (театр им. Ермоловой). Андрей Житинкин вспоминает: «Рядом с Ермоловским театром “работают” московские гетеры — вечерами они толпятся перед “Интуристом”, ругаются с сутенерами, отъезжают с клиентами и возвращаются вновь. Так вот, пожилой Якут уже не мог позволять себе после спектакля много ходить пешком, и мы частенько наблюдали его неторопливо садящимся в нашу служебную машину. Популярность его сп?ла, прохожие даже не подозревали, что когда-то этому старику не давали прохода. Однажды, после какой-то очередной репетиции “Калигулы”, он никак не мог поймать такси, наш шофер был тогда болен. Когда Якут наконец остановил машину, туда впорхнули, опередив его, очередные “ночные бабочки”. Но тут молоденький гаишник, оказавшийся поблизости, остановил своим жезлом уже отъезжавший автомобиль и громко сказал: “Вылезайте, товарищи проститутки, артист поедет”. Как выяснилось, он был у нас накануне с женой — смотрел спектакль “Костюмер” и узнал Якута...»

Маленькая деталь, смешной анекдот — но само время выступает из-за плеча рассказчика, и мы видим эту улицу Горького, этот город, нахохлившийся в эпоху перемен, эти уличные сценки, ночные ларьки и вообще ночную жизнь Москвы.

И в ней — старого артиста.

Кому-то эта ночная жизнь казалась страшной, и небезосновательно, — но мне всегда нравилось видеть, как трескается и «плывет» старая конструкция города, застывшая и обветшавшая, как появляются здесь новые персонажи и обстоятельства. В сущности, именно это историческое движение улавливали тогда и хотели ему соответствовать лишь немногие режиссеры — Андрей Житинкин был одним из них.

В его очерке о Якуте отразилась и такая реальность 90-х, как постоянный творческий раскол — делились на противоборствующие группы творческие коллективы, кипели страсти, то, что при советской власти подавлялось жестким партийным руководством, — теперь выплеснулось наружу целым океаном амбиций. Очерк о Якуте — один из сильнейших в книге. Сыгравший в «Калигуле», стремившийся попасть в «новую волну», в «новый театр» старый заслуженный актер — сражался как мог за свою новую жизнь в искусстве и умер прямо на сцене после премьеры. Трагический и мощный финал.

«Когда мы разлили шампанское по бокалам, он поднялся и сказал примерно следующее: “Ребята, мы сами не понимаем, что мы сделали... Давайте сохранять это”. Он выпил и вдруг, выйдя из-за стола, пошел куда-то вбок, к кулисе — а столы мы поставили тогда прямо на сцене, — он двинулся как бы на выход, по дороге прощаясь и бормоча что-то типа: “Ничего-ничего, не надо провожать...” Мы еще слышали звук его шагов, когда за сценой послышался шум падения. Помню, кто-то решил, что Всеволод Семёнович в своем репертуаре, что это репетиция очередного розыгрыша... И всё. Он умер прямо здесь, на подмостках».

Совсем другим получился портрет Юрия Яковлева — театрального Моцарта, любившего импровизировать, ненавидевшего любые рамки и ограничения, дважды уволенного из театра Вахтангова (уже при худруке Михаиле Ульянове) за «нарушение

производственной дисциплины». Это, кстати, еще одна тема театра 90-х — она называлась «спасти театр» (а спасти нужно было любой театр, даже такой, как Вахтанговский): ведь Михаил Ульянов не был гениальным режиссером, его выбрали именно как «спасателя», и он на свой страх и риск боролся за труппу, боролся за то, чтобы театр не распался, чтобы «его не растащили», в том числе и такими драконовскими приказами. Если Всеволод Якут описан у Житинкина как человек, несмотря на возраст и статус, стремившийся совпасть с новым временем, ответить на его вызов, то Яковлев — как тот тип актера, который как раз живет вне времени. Как тот, кто свободен от этих вызовов и борьбы.

«Я как-то сформулировал, какой у Яковлева любимый способ времяпрепровождения: изящное сибаритство. Особенно в последние годы я его часто видел в арбатских дворах сидящим на лавочке. В шляпе, в очень красивом кашне, в окружении собак, кошек, голубей... Из-за того, что Юрий Васильевич всех подкармливал, они его узнавали. Он очень любил природу, смотрел на солнышко, наблюдал, как распускаются почки, в этом была его философия».

И все же Юрию Яковлеву было очень важно оставаться на вахтанговской сцене, и он пригласил молодого режиссера Андрея Житинкина.

«Однажды Юрий Васильевич пошел к директору Театра Вахтангова и сказал, что хочет, чтобы я для него поставил спектакль. Наш выбор пал на комедию Нила Саймона "Солнечные ребята", а спектакль в итоге получил название "Весёлые парни". Вот тут-то мы с Яковлевым и познакомились ближе. Я в нем обнаружил такого хулигана! Например, когда я предложил: "Юрий Васильевич, а давайте сделаем сцену, где сиделка (ее играла замечательная актриса Мария Аронова) возле вас, пока вы спите, пожирает ваши конфеты и смотрит эротику по телевизору!" Яковлев помолчал, расхохотался, а потом говорит: "А можно, я тоже буду подглядывать?" Он так легко откликнулся на самые смелые затеи, что я поражался».

Есть в этом очерке место, которое я перечитывал несколько раз. В знаменитой «Турандот», спектакле, который оставался визитной карточкой вахтанговцев долгие годы, был, оказывается, один секрет.

«...Он ненавидел играть одинаково. Именно этого и требовал в свое время Евгений Вахтангов. К примеру, в спектакле "Принцесса Турандот" есть места, которые позволяли делать спектакль актуальным, — актеры могли вставлять в свои диалоги шутки, соответствующие времени, какие-то московские слухи, новости. И Юрий Васильевич старался к каждому спектаклю какую-то новую шутку придумать, да такую, чтобы надорвали животы не только зрители, но и другие актеры, персонал за сценой, вообще все. Ульянов, Лановой, Гриценко и Борисова всякий раз "раскалывались". Бывало, партнеры на Яковлева даже обижались».

Вот эти «московские слухи, новости», добавлю от себя, реалии той жизни, которые можно было выносить на сцену, ожидая бурной реакции зрителя, — какими они были? Где была та грань, за которую нельзя было переступить по цензурным или моральным соображениям? Как они менялись в разные эпохи: от Гришина к Ельцину, от Ельцина к Лужкову? Что вообще это были за «вбросы», которые позволял себе Яковлев на сцене? Умер ли этот жанр сегодня? Автор книги как бы очерчивает вокруг своего персонажа круг, за который мы не можем попасть, некий воздух времени, который можно только ощутить. Но увидеть его уже нельзя.

Долго работал Андрей Житинкин в театре Моссовета. Благодаря этому в книге появились потрясающие психологические портреты Маргариты Тереховой и Валентины Талызиной, например. Вообще, читая одну главу за другой, ты все больше понимаешь исторический взгляд автора: *тот*, прежний, советский и даже постсоветский театр — был все-таки прежде всего актерским. Именно актеры составляли и лицо театра, и живую творческую ткань, из которой складывалась театральная жизнь. Они — великие личности и творцы — определяли тогда все. Сейчас это не совсем так.

Ностальгией по «актерскому театру» (а значит, и по советскому) проникнуты мемуары режиссера, который сам пролагал новые пути в том театре 90-х, ломал прежние стереотипы, пытался шокировать публику, чтобы привлечь ее на новую постановку, что было, пожалуй, довольно привычным для того времени ходом.

Вообще театральные книги — особый жанр. В них почти всегда содержится подробный отчет о личных взглядах, вкусах, привычках, пристрастиях автора, о позициях во время того или иного конфликта, каких много в театральной среде, выверенные формулировки, которые иногда понятны лишь немногим. И в то же время — в этих мемуарах почти всегда содержатся уникальные приметы времени, которых в других книгах и не найдешь.

То же я могу сказать и о мемуарах Андрея Житинкина. Листая эти страницы, мы легко можем представить себе, каким был театр 90-х, да и само это время.

«Я первым в Москве поставил “Калигулу”. У меня есть спектакль с ненормативной лексикой, где, скажем, двое вохровцев сидят в морге, всю ночь “квасят” и разговаривают о судьбе Родины (“Игра в жмурики” Михаила Волохова). Что же там еще делать? Да, я проповедую в театре соединение метафоры и натурализма. В “Табакерке”, например, шел культовый спектакль “Псих” про русскую психушку, где наша звезда и красавец Сергей Безруков в финале вешается. Он сделал это более двухсот раз. И без этого трагического финала не было бы катарсиса... В одной из пьес Теннесси Уильямса есть даже канныализм, когда голодные подростки просто-напросто разорвали человека. Эта пьеса, кстати, в свое время была запрещена к постановке во многих странах мира, но она основана на реальных событиях».

Театр 90-х — да, наверное, он был именно таким, ведь обязательно нужно было сделать на сцене что-то *впервые*. Без этого никак. Да и в жизни многое было впервые — Житинкин в своей книге часто описывает эти «впервые»: например, впервые театр имени Моссовета поехал на гастроли в США (как и многие наши театры), впервые он поставил мюзикл с эстрадным шоуменом Николаем Фоменко, впервые — сделал настоящую антрепризу. Наши актеры (многие) впервые увидели «большой мир», попробовали свои силы перед зарубежными зрителями, попробовали себя в абсолютно новых ролях, перешагнули рамки... Впервые (будем честными) попробовали вкус настоящих денег.

Все это было невероятно важно, кстати. И хотя сегодня какие-то «впервые» воспринимаются уже с улыбкой, с иронией — были важны и они. Мир — весь мир — пробовался тогда на вкус.

«Советы специалистов слушать надо обязательно. И в то же время надо и самому воспитывать вкус. Не будешь же каждую секунду с кем-то советоваться. Скажем... надо почаще смотреть на себя в зеркало. Нарциссизм тут ни при чем. Наши мужчины, даже богатые, как-то стесняются ориентироваться на мужские журналы. Вот даму свою, когда идет в гости, он оденет как следует. А сам... Материальные возможности гарантируют хороший вкус далеко не всегда. Например, возьмет кто-то и наденет на себя одновременно вещи от Армани, Гуччи, Версаче».

И мужские журналы, и первые светские рауты, и революции в эстетике, и прямое соприкосновение с политикой — все было впервые для театра 90-х. Да, сегодня все это «открытие мира» кажется наивным. Но оно было.

И в этих свидетельствах о времени есть правда факта, есть невольная ностальгия: о наших тогдашних надеждах, о наших иллюзиях, о нашей уверенности, что этот мир уже никогда не будет прежним. И это очень важное свидетельство, особенно сейчас.

Poetry

Sergei Zolotarev, both the poet and his lyrical hero, like Icarus of the XXI century, is living in flight though it's known how this flight may end up. But for now he is soaring and his soul is singing. **Egvina Fet's** poems are about love that hails from the Garden of Eden and lives there to this day. **Elena Kryukova's** lyrics are also about the love in the Garden of Eden but her garden seems different and her emotion is quite other.

Yourij Kagramanov. The Mirror of the New American Revolution

«It's well known that the artistic thinking plays an important role in the process of preparing revolutions. As Bunin wrote in his "Cursed Days": "How to separate the reality from what books, theater, cinema give us?" In Russia the main role played the book, in the United States as they are now – the cinema». Y. Kagramanov analyses the last three films by Quentin Tarantino whom many people consider the American film-director number one.

Under the headline "The Life in the Literature"

we present chapters from the future book by **Maxim Gureev** about Andrei Bitov. "Bitov liked to note down his dreams; in listing the quaint events and descriptions of some well-known and some unbeknown characters he found what is unobtainable in waking: a special perception of the space, time and environment, vision of the volume and colour as they may be only inside the text surrounding the writer".

Assembly points

Usually it's biographers and reviewers who try to reconstruct the "bloodline" of the author. We were interested to get the first-hand testimonies: the self-identifications of the writers. So we have invited prosaists, poets, critics – younger and older contemporaries – to take part in our "round table" by correspondence. In this issue we present its first part: meditations of **Maria Anufrieva, Olga Balla, Efim Bershin, Konstantin Komarov, Vladimir Medvedev, Sergei Soloukh, Alexander Chantsev**

Evgenij Abdullaev: "Sometimes there is a feeling that the young readers... yes, they are just passing by on their skateboards, our anguish is not interesting for them. But later I certainly notice: they do read and understand somehow, in their own way my coevals (who are just entering their Indian summer period) and me... And when they are arguing it even pleases more".

Sergei Soloukh: "Will the genuine be needed? That's what is interesting. Or will Michael Jackson and Alla Pugacheva conquer them all? Genetic engineering and mesotherapy, peeling and contour plastics. I have no answer to this question".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

<http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,

вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**8/2022**

Читайте!

Дмитрий Исакжанов.
Роман «Проскинитарий»

«Здесь нет времени и нет времён года. Осень не сменяет лето, а зима — осень. Весна не приходит на смену зиме, а лето не возвращается в эти земли, сделав круг и выйдя с той стороны неба. Здесь не нужны ни часы, ни календари... Иной мир, не знающий ни боли ухода, ни скорби прощания. Возраст твой — тайна, и число лет твоих не открыто никому, ибо некому спросить в пустыне о том, что помнит она, где её сердце, где её память. Всяк спешит уйти из неё к благословенным волнам океана, но воды его горьки. Величественно и бесшумно крутится его колесо, поднимая ввысь праведных и сминая в прах смертных — никто не укроется от него, ибо оно везде и нигде, и там, где нет его, там оно тоже есть, потому что здесь есть только оно, и оно рождается именно здесь. От трения волн о камни, покрытые нефтяной плёнкой и морским жёлудем. От протяжной песни муэдзина. От тоски, острой, как дамасская сталь. От шелеста ночи. От того, что нужно же куда-то девать и этот жар, и этот сон, и звёзды, и старость, и бесконечность, и страсть...»